



**В. И. ЛАМАНСКИЙ**

**Михаил Васильевич Ломоносов**

**Биографический очерк**

### **Введение**

Меня давно стало занимать то оригинальное явление, которое представляет собою петербургская академия наук. *Русское* ученое общество — ибо заведено в России, на русские средства, для русских — она существует слишком сто лет и держится почти исключительно учеными силами Германии или балтийских провинций, издает свои труды преимущественно на языке немецком, реже на французском и еще реже на русском. Явление — крайне любопытное, хотя неединственное и небеспримерное. Так, еще не очень давно в королевстве греческом все ученые звания, почти весь афинский университет заняты были учеными немцами. У нас, в России, до сих пор целые отрасли народной промышленности и заграничная торговля находятся почти исключительно в руках иностранцев и в особенности немцев. Эти явления, бесспорно, много чести приносят нашим западным соседям, свидетельствуя об их предприимчивости, трудолюбии, образованности и большой попечительности друг о друге, но в то же время очень мало говорят в нашу пользу, обличая жалкое состояние нашей народной производительности и образованности. Очевидно, наша академия находится в положении ненормальном, неестественном, точно так же, как и наша промышленность и торговля. В противном случае пришлось бы утверждать, что все ученые общества того рода во Франции, Англии, Германии, Бельгии, Италии развились ненормально и должны со временем переделаться по образцу нашей академии, т. е. должны перестать состоять из ученых отечественных, прекратить свои издания на языках отечественных. Когда общество действительно идет вперед, то все, что есть в нем ненормального, неестественного, долго держаться не может. Либеральные реформы нашего законодательства, направленные к уничтожению преград, мешающих свободному развитию народной производительности, благородные усилия частных лиц и целых классов общества по распространению в народе образования ускоряют и облегчают все тягости перехода петербургской академии из ее нынешнего ненормального положения. При нашем

искреннем и горячем желании скорее видеть ее в здоровом, цветущем состоянии, следовательно — чисто русским, национальным учреждением (и, разумеется, ученым, ибо академия всегда могла бы состояться из русских и неученых, а теперь состоит преимущественно из ученых немцев, потому, конечно, что из русских таковых не находится), нам естественно было забегать вперед с вопросом: какой же вид примет преобразованная петербургская академия наук? Такого рода вопросы всегда наводят на исторические изыскания. Я стал усердно изучать историю академии не только по печатным, всем известным источникам, но и по рукописям, не для всех, доступным. Чем больше я знакомился с историей академии, тем более останавливался я на том ее периоде, когда в ней служил Ломоносов. Прежде, до этих занятий, я всегда думал, что его заслуги и труды для русского просвещения оценены и вполне, что вся его деятельность хорошо известна. Но тут я скоро понял свое заблуждение и ясно убедился, что подробное жизнеописание Ломоносова, которое еще не существует, необходимо, между прочим, и для верного понимания всей истории петербургской академии, для открытия в ее прошедшем тех светлых явлений, которые могли бы прорости в будущее, и истинных причин тех печальных явлений, которые должны быть уничтожены в настоящем.

В настоящее время, надолго покидая Россию для других моих занятий, я принужден ограничиться только первыми главами моего биографического очерка, на который прошу читателя глядеть с моей же точки зрения, как даже не на первый опыт, а как на подробный конспект имеющей быть полной биографии Ломоносова, излагающей его жизнь и деятельность в связи с развитием современного ему общества.

## 1

Петровский или петербургский период нашей истории завершен. Я не хочу этим сказать, чтобы еще не было теперь в России множества людей, которые бы в своей частной и общественной жизни не отражали жизни того периода, чтобы современная действительность не представляла многих явлений, почти исключительно его характеризующих. Говоря, что петербургский период нами пережит, я хотел только сказать, что его руководящая идея перестала быть основным движущим началом нашей истории, что она уступила свое верховное место другой, высшей ее, идее, составляющей душу нашей эпохи. Теперь еще не только не перевелись люди, которые не могут переварить в своем сознании мысли об односторонности петербургского периода, но, по всей вероятности, они просуществуют еще много лет, как прожило же до нашего времени не мало людей, нежелающих признать никакой законности за некогда новую идею Петровской эпохи. Еще долго после революции и Напо-

леоновских войн там и сям прозябали напудренные маркизы и эмигранты. Зачем же отказывать в многолетии нашим западникам, не признающим в реформе Петра и ее последствиях ни малейшей односторонности. Неумолимая история переводит их теперь в ряды раскольников, староверов, в великий грех вменявших чтение книг никоновского исправления, бритье бород и ношение немецкого платья, или тех французов-эмигрантов, что видели падение Франции в провозглашении в ней начала равенства людей перед законом. Проводя аналогию наших западников с староверами, нельзя, однако, не оговориться, что за последними гораздо более прав на долговечность и внимание истории. Безусловные защитники обряда, покрова и оболочки мысли и чувства, часто совершенно русского, народного, наши староверы вообще бывают близки к историческим основам русской жизни, тогда как наши безусловные поклонники петровской реформы, оправдывая и защищая все частные односторонности и личные недостатки гениального деятеля, являются и непрощеными защитниками чужих, перенесенных к нам форм, часто уже вымерших на Западе, поборниками пережитых идей и мнений, выработанных в Европе без всякого их участия. Раскольники-староверы уже сами по себе составляют явление любопытное для изучения нашего старинного быта. Нельзя того же сказать про наших западников, ибо, в самом деле, кто станет обращаться к жалким снимкам и часто уродливым копиям, когда перед глазами настоящие подлинники — сам Запад, который в настоящее время мы и можем, и должны изучать непосредственно и, разумеется, критически.

И так, петербургский период нашей истории завершён. Односторонность его признана. В каком же теперь свете предстанет нам Ломоносов, главнейший после Петра деятель этого периода? В ту пору внешнего блеска и самообольщения мы много натворили себе кумиров, насочиняли всяких великих имен, громких дел и славных подвигов. Далеко уже не в том виде, как прежде бывало, восстает перед нами это блестящее прошедшее. Но еще много повалится прежних кумиров, померкнут многие славы, вполне разоблачится нелепость многих предприятий и вредные последствия разных громких дел, прославленных льстецами и благородными, но обманутыми современниками. Их подкупал внешний блеск тем легче, чем менее были им известны основные побуждения таких предприятий, будто бы по своим последствиям благодетельных для русского народа, неведением которого отличалось наше образованное общество этого периода. Часто оно наивно воображало, что может вести Россию вперед по пути просвещения, отрекаясь от своего просветительного начала, не живя с народом, его истинным хранителем, в тесном общении и братском союзе, а, напротив, барствуя с ним и обезьяничая перед Западом. Вместо разных мишурных слав и самозданных кумиров, правдивая история XVIII века откроет нам не мало

светлых явлений и доблестных характеров, которые доселе оставались почти незамеченными и даже подвергались злобным нападкам, невежественному гонению современников. Но не омрачится слава Ломоносова, не опозорится его имя, место его не останется праздным, и не займут его другие. Пройдут века, а его имя с почтением будет произноситься уже не десятками, а сотнями тысяч, миллионами русских людей и уважаться не в одной России, а везде, куда ни проникнет русская речь, русская грамота. В исполинских чертах рисуется нам образ Ломоносова уже и теперь, когда еще так мало известна его трудовая жизнь и громадная деятельность, хотя и теперь уже столько написано у нас о Ломоносове, что из статей о нем можно бы составить несколько книг. Наши писатели всех поколений, часто люди самых блестящих дарований и больших заслуг в мире науки и художеств, вменяли себе в непременный долг сказать свое слово о Ломоносове, своими отношениями к нему как бы желая измерить свое собственное значение в истории русского просвещения. Писатели разных поколений, нередко самых противоположных направлений сходятся в своих отзывах о Ломоносове. О нем выражались с одинаким уважением: Муравьев, Новиков, Радищев, Щербатов, Болтин, Порошин, Фонвизин, Державин, Карамзин, Шишков, Мерзляков, Жуковский, Батюшков, Вяземский, Пушкин, Гоголь, Лепехин, Озерецковский, Севергин, Перевошиков, Спасский, Шуровский, Озерский, Соколов, Любимов, Полевой, Губерт, Одоевский, Шевырев, Никитенко, Греч, Погодин, Савельев, Белинский, Соловьев, Буслаев, Аксаков, Хомяков. Все эти лица, из которых одни действительно ознаменовали себя великими заслугами в истории русского просвещения, а другие долго считались, а некоторые из них поныне считаются у нас более или менее замечательными деятелями — все они рассматривали труды и подвиг Ломоносова с разных точек зрения и почти единогласно выражали свое глубочайшее уважение к его памяти. Но честь наиболее полного определения значения Ломоносова в истории нашего просвещения по всей справедливости принадлежит К. Аксакову, который свое обширное сочинение о нем заключил следующими замечательными строками: «Колоссальное лицо Ломоносова, которое встречаем в нашей литературе, является не формальною, но живую точкою начала; вся наша деятельность, явившаяся и являющаяся и имеющая явиться, вся примыкает к нему, как к своему источнику; он стоит на границе двух сфер, дающий новую жизнь, вводящий в новую полную сферу. Развитие двинулось и пошло своим путем, своими односторонностями, и как бы ни пошло развитие, он является, как давший его. Да замолкнут же все невежественные обвинения и толки; от наших дней требуется свободное признание его великого подвига и полная, искренняя, глубокая благодарность. Образ его исполински является нам, и этот исполинский образ возвышается перед нами во всем

могуществе и силе гения, во всей славе своего подвига и бесконечно будет он возвышаться, как бесконечно его великое дело».

Приведением этих слов г. Аксакова я не только хотел почтить память этого благородного деятеля, так рано похищенного смертью, но и отвечать на возбужденный вопрос: как нам представляется Ломоносов теперь, когда уже признана односторонность петербургского периода, в течение которого он был первым и почти единственным, после Петра, колоссальным лицом нашей истории? Г. Аксаков же принадлежал к числу тех незабвенных наших деятелей, которые, как Хомяков и Киреевские, первые вполне ясно обличили односторонность и ложь петербургского периода и положили начало новому периоду нашей образованности. В этом отношении суждение г. Аксакова о Ломоносове весьма знаменательно, ибо г. Аксакова нельзя заподозрить в пристрастии к периоду петербургскому и ко всем его явлениям. В то же время он отнюдь не противоречит и высокому мнению о Ломоносове всех его замечательных преемников, как, например, Фонвизина, Новикова, Лепехина, Карамзина, Пушкина и Гоголя. Но это самое сходство суждения г. Аксакова с мнениями последних, все — представители прошедшей эпохи, не возбуждает ли сомнения в верности этого суждения? Односторонность господствовавшей тогда образованности, наложившей свою печать на все тогдашние идеи, стремления и задачи, на способы, их решения, не могла же однако не отразиться на мнениях главнейших ее представителей о Ломоносове и на их понимании его деятельности? Не придется ли таким образом решительно отвергнуть все эти мнения о великих заслугах и дарованиях Ломоносова?

В самом деле, очень недавно, уже после г. Аксакова, появилось в нашей литературе мнение о Ломоносове совершенно противоположное. Так говорят, что в истории русского просвещения он стоит вовсе не выше немецких академиков Миллера и Шлецера.

Правда, Миллер участвовал в знаменитой сибирской экспедиции, прожил в России большую часть жизни и своим громадным трудолюбием действительно оказал русской науке услуги великие, с благодарностью у нас признанные. Но он не отличался ни особенными дарованиями, ни чистою, бескорыстною привязанностью к нашему народу, на которого глядел не иначе как все тогдашние немцы. Миллер с любовью к науке просто соединял усердие и преданность к русскому правительству, которому служил верно до самой смерти. Хотя Шлецер своими дарованиями и ученостью далеко превосходил Миллера, но он вовсе не знал России, ибо прожил в ней, и то в одном только Петербурге, не более 7 лет с промежутками, а во-вторых, и в самой Германии, гордой своим патриотизмом, никто его серьезно не называет человеком великим и гениальным, за исключением разве его сына. Как бы то ни было, только в истории русского просвещения Ломоносова ставить рядом с двумя состоявшими в русской

коронной службе учеными немцами, из которых один, чрезвычайно трудолюбивый прожил в России очень долго, но не был особенно даровит, а другой, даровитый специалист, пробыл в России, и то в одном Петербурге, менее 7 лет, ставить, говорю, с ними рядом Ломоносова значит отрицать в нем гениальные дарования и отнюдь не признавать за ним того исторического значения, которое ему привыкла приписывать образованная Россия.

Далее утверждают, что Ломоносов в понимании различных общественных русских вопросов стоял ниже и своих русских современников, И. И. Шувалова, Теплова и Козлова, а эти последние уже никак не могут быть названы умами необыкновенными. Наконец решительно уверяют, что только умам пристрастным, ограниченным может казаться Ломоносов каким-то великим человеком или, как выражаются саркастически, трагическим героем.

Таково-то новое в нашей литературе мнение о Ломоносове, совершенно противное мнениям о нем всех замечательнейших представителей нашей образованности, не одних деятелей петербургского периода, но и таких, которые, подобно Аксакову, сознали и обличили его односторонность.

Невольно возникает вопрос: не следует ли признать за истинное это последнее мнение о Ломоносове? Суждения о нем Аксакова, Хомякова не доказывают ли только, что они еще не освободились от влияния петербургского периода, видя в одном из его деятелей, в сущности очень обыкновенном, какую-то гениальную, великую личность? В чем же, в противном случае, отношения всех последующих наших писателей и ученых выражают односторонность и ложь этого периода?

В том именно обстоятельстве, что это последнее мнение проводится в изданиях петербургской академии наук.

Развернем нашу мысль яснее: это мнение о Ломоносове в сущности не имеет никакого объективного значения, но очень любопытно в отношении субъективном. Оно было высказано у нас одним немецким ученым, занимающим кафедру русской истории в нашей академии. Поступив в члены академии лет 15 тому назад, г. Куник тогда еще плохо знал русский язык, доказательства чему можно найти в его немецком сочинении «О призвании варягов», особенно в первой его части. Впоследствии времени, уже членом академии, он хорошо выучился русскому языку, но при всем своем трудолюбии слишком мало имел досуга для основательного знакомства с нашею словесностью, ибо с 1846–1847 годов. Куник почти преимущественно занимался изданием, и весьма добросовестно, различных источников и памятников русской истории, как отечественных, так и иностранных, подробными, часто чрезвычайно мелочными исследованиями о варягах, об Ярославле серебре, о портретах Анны Леопольдовны, о русских медалях, хронологическими изысканиями по русской

и византийской истории, о периодических изданиях академии, о пламенных особенностях арийцев. При таких обширных и разносторонних ученых занятиях, поглощающих весьма много времени, иностранец в какие-нибудь 15–16 лет мог ли даже приготовиться, как следует, к ясному пониманию значения Ломоносова в истории русского просвещения, ибо для этого требуется близкое знакомство со всеми последующими явлениями нашей образованности до настоящего времени, и уже недостаточно одних библиографических сведений и таких хронологических изысканий о времени появления тех или других од Тредьяковского, Сумарокова и Ломоносова. Таким образом неправильность суждения г. Куника о Ломоносове очень понятна и даже извинительна, разве только можно бы было пожелать ему поменее той самоуверенности и того резкого тона, с каким он вообще любит иногда обращаться и к русской жизни, и к русской литературе, с которою вообще он все-таки знаком больше библиографически. Впрочем, и этот недостаток сочинений г. Куника находит себе оправдание и извинение в общем характере немецкой образованности. Едва ли в какой другой великой европейской литературе, кроме немецкой, отличается, например, ученая полемика такою резкостью тона. Едва ли есть в немецком обществе более сильный порок, чем его национальные предубеждения, часто в высшей степени темные и фанатические — для сего довольно указать хоть, например, на политические статьи Фальмераiera, одного из даровитейших немецких публицистов, — и глубокая поныне вражда немцев к славянам — для сего достаточно проглядеть несколько немецких политических журналов и узнать их мнения о поляках, чехах и т. д.; но из ряду славян ученая и неученая Германия никогда не выключала и нас, русских. Ломоносов же был одним из замечательнейших представителей не только русского народа, но и вообще славянского племени, великим подвижником русского, народного просвещения, всю почти свою жизнь борющимся с немцами. Чтобы природному немцу, уроженцу Германии, иметь возможность судить о Ломоносове беспристрастно, для того ему непременно нужно подняться выше своего общества, откинуть все прежние предрассудки, а такой подвиг дается людям только необыкновенных дарований или при каких-нибудь особенно благоприятных обстоятельствах и притом гораздо легче таким немцам, которые жилали в России, но не состояли и не состоят на государственной службе, не Миллеру, Шлецеру и Кунику, а Блазиусу, Гактстгаузену, Боденштедту. Все эти соображения служат, кажется, достаточным оправданием строгости и резкости приговоров г. Куника о Ломоносове. В извинение их я позволю себе указать еще на одно обстоятельство, которое не могло не мешать г. Кунику относиться к Ломоносову вполне свободно и беспристрастно. В нем к предубеждению национальному присоединилось предубеждение партии. Сам иностранец и русский

академик, г. Куник, конечно, не может с полной свободой и искренностью сочувствовать русскому академику Ломоносову, который задумывал устроить академию на таком основании, чтобы она имела при себе университет, отличнейших его воспитанников отправляла за границу, а потом производила бы их в академики; и таким образом, по плану Ломоносова, прекратилась бы надобность в постоянном вызове ученых иностранцев для занятия всякой кафедры, и в короткое время академия могла бы уже состоять из одних русских ученых. Г. Куник, вскоре по издании в свете первой части своего сочинения о варягах занявший кафедру русской истории в нашей академии, не мог не осуждать действий Ломоносова в академии и не находить их пристрастными. Таким образом, по словам г. Куника, «даже обнаруживание» (Пассеком) портфеля служебной деятельности Ломоносова «послужило только к превратным толкам об истории академии»\*. По соображении всех наших замечаний никто, мы уверены, не станет упрекать г. Куника за резкость и неверность его суждений о Ломоносове. Взглянув на них исторически, мы даже усмотрим в них большой шаг вперед. Г. Куник все-таки уже признает известные заслуги за Ломоносовым и даже ставит его на одну доску с Миллером и Шлецером. Не так отзывались о нем немцы, его современники. Миллер называл его злонамеренным и бешеным человеком, со смертью лишь которого могла бы подняться академия. Шлецер величал его пьяным дикарем, полуученым, наглым деспотом, а пастор Бюшин считал его совершенным негодяем, презрительно отзываясь: *Lomonossow und ähnliche Leute*. Г. Куник, с обычным немецким трудолюбием занявшись разными специальными, часто очень мелочными вопросами русской истории, русской библиографией, сам мало-помалу и бессознательно подвергся значительному влиянию русской мысли. Оно было так благотворно, что дало ему

---

\* Вообще, мы во многом не можем согласиться с г. Куником относительно академии. Так, например, он говорит: «Чтоб привлечь в академию первоклассных ученых, Петр дозволил им заключать контракты только на пять лет, предоставляя, по истечении этого срока, выходить в отставку или заключать новый контракт. *Этот странный для нашего времени обычай* продолжался от начала академии до некоторых лет царствования Екатерины II. Как бы ни были благонамеренны некоторые из наших первых академиком, могли ли они приобрести глубокую привязанность к стране, которую считали для себя лишь временным местопребыванием? И как могли решиться навсегда посвятить себя государству (но Петр I того и не требовал), когда оно еще не представляло им законного права на пенсию, в случае болезни или старости, а после смерти ничем не обеспечивало судьбы их семейства». Откровенно признаемся, что мы, в противность г. Кунику, видим странность не в пятилетних контрактах, а в его мнении, поставляющем привязанность к стране в зависимость от пенсии. Разве нужна была пенсия Байрону, Жуковскому, Глинке, чтоб привязаться им к Греции, Германии и Испании?

большое преимущество перед другими его товарищами академиками, которые превосходят его своими дарованиями, как, например: г. Бетлинг и Бер, но, мало или даже вовсе незнакомые с русской литературой, гораздо меньше его подчинились влиянию русской мысли. Жаль только, что г. Куник не сознает этого преимущества своего, которым он так обязан именно Ломоносову же, истинному родоначальнику русской литературы. Сняв таким образом с г. Куника всякую по возможности личную ответственность за его резкие и несправедливые мнения о Ломоносове, мы не можем, однако, не заметить, что если они отнюдь не навлекают на него никаких упреков, то тем не менее, однако, остаются вполне неправильными и даже враждебными народному нашему развитию. То обстоятельство, что такие мнения проводятся в изданиях петербургской академии и от ее лица, заслуживает глубокого внимания. В этом именно обстоятельстве и выразилось, по нашему мнению, то непонимание истинных заслуг Ломоносова, в котором мы заподозрили его преемников, деятелей петербургского периода. Впрочем, если угодно, и в мнениях современной нам петербургской академии о Ломоносове нет ничего удивительного, ибо это ученое общество, открытое в 1726 году, как в личном своем составе, так и по характеру своей деятельности более чем наполовину немецкое, особенно если исключить 2-е отделение, которое более чем наполовину лишено строго ученого характера. В том-то явлении и в равнодушном, безразличном отношении к нему нашего общества и высказалась та односторонность и ложь петербургского периода, которая, как я заметил, не могла же не отразиться на отношениях к Ломоносову последующих деятелей русской образованности. Его представления о том, чтобы «не токмо сие собрание, но и все отечество учеными сынами своими удовольствовано было» — были отвергнуты и оставлены почти безо всякого внимания; его главные идеи забыты, и завещание его не исполнено поныне, хотя уже скоро минет сто лет, как он умер.

Мы знаем теперь отзывы немцев о Ломоносове. Такой же брани подвергались от них и все лучшие люди нашего племени, все смелые поборники славянской народности: Гусс, Иероним, Жижка и в новейшие времена — Палацкий, Ганка, Челяковский, Гавличек. Русская образованность петербургского периода оттого собственно и следовала ложному направлению, что русское общество жило в разрыве с русским народом, потому что она почти исключительно имела не народный, а сословный, дворянский, шляхетский и отчасти семинарский характер. Получив из крестьянства образователя литературного языка и родоначальника русской словесности и науки, наши передовые классы не потрудились призадуматься над этим простым фактом, над этим низким происхождением Ломоносова. Они просто видели в этом странную игру случая, с удивлением замечая, что первый наш литературный аристократ родился

в бедной хижине рыбака; впрочем, одобрительно прибавляли, что за это Ломоносову тем более чести и славы.

Крестьянство, выслав из недр своих Ломоносова, совершило чрез него подвиг, который был не по плечу дворянам и поповичам, в руки которых, по смерти его, мало-помалу досталось исключительное заведывание умственною и общественною жизнью России в период петербургский. Народ, создавший громадное государство, не раз спасавший его целость и единство, был искусственно выдвинут из круга общего развития и, все более связываемый крепостным правом, уже терпел рабскую долю, общую всем его злополучным соплеменникам. Ломоносов всю почти свою жизнь боролся за русскую народность с немцами, которые обыкновенно являлись в Россию такими же культуртрегерами, как и к западным славянам. Благодаря не столько многочисленности русского народа, сколько крепости его внутреннего быта и его преданности к старине и обычаю, победа в России славянского начала над немецким не стоила бы особенных усилий, если бы высшие классы не разорвали духовного союза с народом, не поработили его себе и не вступили для сего в соглашение с немцами. Отрекаясь от своего несравненно высшего просветительного начала и добровольно подчиняясь чуждому, низшему, хотя и более развитому, отрываясь от народа; наши высшие классы, подобно чешскому, боснийскому и западно-русскому дворянству, значительно слабели умственно, развращались нравственно; по недостатку критики, а часто и из корыстолюбия, они спокойно, равнодушно взирали на усиление в России немецкой стихии, все глубже действовавшей в ущерб нашей народной, славянской стихии. Это шляхетское направление ярко отразилось и на нашей литературе. От смерти Ломоносова (1765 г.) до недавнего времени она изобилует нападками, часто вовсе несправедливыми, на французов и почти лишена всяких даже намеков и указаний на немцев. Эти нападки тем более несправедливы, что настоящей односторонности французской образованности предки наши не понимали, точно так же, как долго оставались в совершенном неведении об умственном перевороте, совершавшемся во 2-й половине XVIII века в Германии. Эти нападки на французов часто только обличают шляхетские пристрастия: народ наш ничего почти не терпел от французов, которые при живости своего характера и при страсти своей к пропаганде, напротив, часто даже внушали своим питомцам, юным дворянам, если не отвращение к крепостному праву, то, по крайности, сильные сомнения в его законности. К сожалению, нельзя того же сказать о наших немцах, с которыми народ наш был близко знаком, как с администраторами, начальниками, управляющими и мастерами. Народ на них жаловался, роптал; изъявлял свое неудовольствие в поговорках, пословицах и песнях, а литература молчала, потому что была в значительной степени шляхетскою, а интересы чисто шляхетские

мало-помалу отождествлялись с интересами чисто немецкими. Тем и другим должно было нанести сильный, решительный удар уничтожение крепостного права и распространение грамотности в народе. Поповичи же, из которых почти исключительно долгое время вербовалось наше ученое сословие, получали в семинариях, устроенных по образцам западно-русским, в чисто почти латинских началах, какой-то особый закал педантизма и схоластики, часто прямо враждебный русским историческим преданиям и совершенно противный нашему просветительному началу. Семинарское воспитание забивало в юношах их детские, большею частью деревенские воспоминания, роднившие их с крестьянством, приучало своих питомцев глядеть на народ с пренебрежением и свысока, как на глупое стадо или сборище непросвещенных невежд; недолженствующих ни в чем иметь право голоса. Таким образом, поповичи в основных своих взглядах на народ сходились с дворянами и немцами. Предоставленная преимущественно таким силам, наука в России не могла развиваться так быстро и успешно, как того бы можно было ожидать, судя по одним способностям русского народа. Правда, являлись изредка некоторые писатели, ученые, очень замечательные, пытавшиеся проводить идею народности, мысль о свободном и самобытном развитии русского просвещения, но их голос был заглушаем толпою подражателей и репетиторов, весь свой век пробавлявшихся чужими идеями, рабски воспринятыми. При таком мертвом взгляде на науку, по которому учение есть не что иное, как подражание, умственный народный капитал не мог возрастать, а народные силы должны были гложуть в бездействии или тратиться совершенно непроизводительно. Вследствие той же мертвенности взгляда на науку, круг писателей-литераторов резко отделился от круга писателей-ученых. Одних вовсе почти не занимали интересы общественные, других — интересы науки. Благодаря этому разрыву, при всей своей благонамеренности, те и другие нередко задерживали в России развитие просвещения, укореняя в обществе нелепые предрассудки, как, например, о том, что жизнь и наука должны быть каждая сама по себе, или уж по крайности науке-то от русской жизни учиться нечему; что русский ум неизобретателен, от природы лишен самобытного творчества, способен только к переимчивости и подражательности; что наше историческое призвание — ничего своего не создавать, а только перенимать все хорошее у Запада; что мысль о русской науке есть величайшая нелепость; что наш язык неспособен стать органом высшей мысли, науки. В самом деле, и теперь у нас довольно наберется ученых мужей, которые отказываются писать по-русски, говоря, что их в России не оценят; если же, паче чаяния, и найдется у нас несколько знатоков, то ведь они могут и должны читать на языках иностранных. Положим, тут есть доля правды; но разве есть парадоксы совершенно ложные? разве чистая ложь сама по себе

существует? Представьте себе, однако, если бы, подобно нашим мудрецам, рассуждали все европейские ученые XVI, XVII и XVIII веков, имели ли бы теперь англичане, немцы, французы свои богатые ученые литературы, не господствовал ли бы у них и доныне язык латинский?

И так, педантизм, смесь семинарства с филистерством, и дилетантизм, смесь дендизма с барством, насквозь проникали всю нашу литературу и образованность до недавнего времени, искажали все лучшие ее явления. При таком направлении общества мысли Ломоносова о распространении знаний в России, его предложения относительно академии наук, «чтоб она не только сама себя учеными людьми могла довольствоваться, но размножать оных и распространять по всему государству» — все эти заветные желания Ломоносова мало могли находить себе сочувствия в русском обществе и должны были постепенно приходить в забвение.

Нет ничего жалче, пошлее и мельче, как глубокое негодование и горькие жалобы представителей наших старых поколений, деятелей второй половины царствования Екатерины, александровского и стариков николаевского времени, эти негодования их и жалобы на молодое поколение за то, что оно не умеет ценить заслуг своих отцов, неблагодарно к их памяти. Нельзя не согласиться, что, если эти жалобы и не лишены часто некоторой справедливости, во всяком случае, эта несправедливость к ним их преемников вполне заслужена ими. Они гордятся блеском петербургской эпохи, подвигами петербургской образованности, но не часто ли вся она проникнута презрением к народной старине, к народному обычаю, неуважением к которому должно бы являться преступлением для тех, кто так глубоко скорбит и возмущается при каждом неуважительном выражении о Державине, Карамзине, Сперанском. Наши старики забывают тут об исторической Немезиде. Пусть они поразмыслят, что эти самые деятели, не говоря уже об их современниках, много ли уважали самостоятельные права русской жизни, смиренно ли и сочувственно относились к быту народа, к его обычаям и воззрениям? Наконец, что сказать о том глубоком неуважении, которое проявили наши старики, гордые своим Петербургом, к памяти Ломоносова? Правда, они превозносили его Малербом и Пиндаром, орлом и гениальным рыбаком; но что они сохранили нам об его жизни, домашней и общественной, что они сделали с его домом, вещами, рукописями и письмами? До нас дошли о Ломоносове самые скудные и ничтожные известия, тогда как до конца XVIII или начала XIX века еще много жило людей, близко знавших, часто выдавших его и ходивших к нему на дом. Имеющиеся издания сочинений Ломоносова, печальная судьба его посмертных бумаг и писем служат нашим старикам таким укором и осуждением, что им должно бы быть совестно даже заикаться против неуважения нашего времени к их петербургской

старине. Оно даже относится гораздо с большим уважением к Сумарокову, Княжнину и Лукину, нежели они относились к трудам Ломоносова.

Указав на отношения к нему последующих деятелей петербургской образованности, постараемся теперь выяснить те два основные положения, от которых главнейше зависит, по нашему мнению, верность взгляда на реформу Петра Великого и на тесно с нею связанную деятельность Ломоносова. Эти положения касаются отношений государства к обществу и высших передовых классов общества к так называемому простому народу. Односторонность и ложь петербургского периода в том единственно и заключаются, что в это время в общественном сознании России господствовали совершенно обратные и извращенные понятия об этих отношениях.

Честь строгого, сознательного разграничения двух областей, государственной и общественной, бесспорно принадлежит новейшему времени. Но законы, которым подчинены внешняя природа и человеческие общества, имеют свое действие независимо от того, сознают ли их люди или нет. Уразумение законов, управляющих жизнью обществ и народов, обещает человечеству великую пользу, давая ему возможность избегать прежних ошибок, происходивших от незнания этих законов и от неведения последствий их вольного или невольного нарушения. Но если сознательное разграничение в теории двух сфер, общественной и государственной — очень недавно, то зато история новой Европы доказывает, что в народах всегда жило, хотя смутно, если не сознание, то чувство необходимости разграничивать эти две сферы. Из всех западных народов это чувство было живее всего в Англии. У нас, в России, до Петра, это чувство нашло себе ясное определение в самом языке: *земля и государство, дело земское и государево*; земщина, земцы в отношении к царю, начальнику государства и символу единства русской земли, называли себя сиротами, а люди служилые — холопями, которое слово до конца XVII века никогда в этом смысле не означало раба и не имело никакого унижительного значения. В смутное время русский народ был без государства; тяготясь беспорядком и придя в сознание своего единства, единства русской земли, он выбирает царя и ставит себе государство, на поддержание которого, при царе Михаиле, русская земля с полным сознанием напрягала все свои силы и тем обличила свое воззрение на государство, свою верную и глубокую мысль на то, что сила и прочность государства опирается на нравственном к нему доверии земли. В этом отношении в высшей степени замечательно следующее место одного сказания о смутном времени. Рассказав, как мятежники пришли к царю В. И. Шуйскому, летописец продолжает: что царь «в лице им ста, рече: что приидосте ко мне с шумом гласа нелепаго, о людие, аще ли убити мя хотите, готов есмь умроти, аще ли от престола и царства мя изгонити, то не имате сего

учинити, дондеже снидутся есть большие бояре и всех чинов люди да и аз с ними, и как вся земля совет положит, так и аз готов по тому совету творити»\*. Таков был взгляд в древней России на отношения земли к государству.

Как ни высоко его призвание, но круг его деятельности, по самому существу его, гораздо теснее и ограниченнее круга деятельности общества, народа, как церкви — христианской общины, и как земли — всяких чинов людей. Защищая страну от внешних нападений, заступаясь за ее интересы во всех международных политических сношениях, внутри государство имеет своею главнейшею задачею рядом постепенных законодательных и административных мер уничтожать те внешние преграды, которые задерживают свободное развитие народа в отношении нравственном, умственном и материальном. Государство тем вернее исполняет свое назначение, чем внимательнее прислушивается к голосу земли, к общественному мнению, чем лучше и успешнее удовлетворяет живым потребностям народа. Сила и крепость государства состоит в сочувствии к нему народа, в соответствии его распоряжений, мер и законов с наличными его нуждами и желаниями, с его понятиями о правде. Если обществу в значительной мере принадлежит деятельность условная, практическая, как, например, промышленность и торговля, деятельность торговых товариществ, акционерных обществ, то зато уже к нему безраздельно относится вся свободная деятельность духа, и в этом отношении весьма верно замечено, что свобода слова устного и печатного не есть политическая прерогатива. Вся же деятельность государства — чисто практическая и условная. В обществе беспрерывно возникают и зарождаются новые потребности и стремления, задачи и мысли, распространяются в нем и обсуживаются, и, уже достаточно износившись и устарев в смысле теоретическом, ищут себе наконец практического приложения и только уже тогда переходят в область государства. Когда оно занято сведением в одну формулу всех частных толков и мнений, изобретением такой формы для сделки, которая бы по возможности удовлетворяла всем насущным потребностям общества, в народе между тем созревают новые стремления и задачи, новые потребности и мысли. Самые величайшие государственные деятели суть умы, по преимуществу практические, а уже, по самому существу человеческого разума, способности практические никогда не бывают соединены в одном лице в одинаковой степени с способностями умозрительными. Люди практические в своей деятельности неизбежно руководятся идеями и учениями деятелей общественных, по преимуществу поэтов, проповедников, мыслителей. Последние, в течение всей истории, всегда и везде являются первыми зачинщиками. Часто невидимо и даже бессозна-

---

\* «Временник Моск. Общ. Ист. в Древн.» Кн. XVI. Стр. 67.

тельно, только они всегда подущают деятелей государственных, возбуждают их к осуществлению и применению в жизни тех чаяний, упований и истин, постижению которых посвящены силы этих общественных деятелей или двигателей. Словом, между ними и деятелями государственными существует то же отношение, что между химиками и механиками, теоретиками и практиками, заводчиками и промышленниками. Таким образом, никакое государство в мире, как бы оно ни старалось перетянуть к себе всех замечательнейших людей страны — что и невозможно — никогда, строго говоря, не может просвещать общества, народа, да и никогда не просвещало его, ибо просветительное начало хранится только в народе и обществе и уже от них испускает свои лучи на государство. Величайшие общественные деятели, истинные двигатели просвещения очень часто не имеют никакого непосредственного значения в государстве, но тем не менее никакие величайшие правители и министры никогда не имели в Англии такого просветительного влияния, как Шекспир, Бэкон и Ньютон. Несмотря на все громадное значение для Германии ее Генрихов, Оттонов, Фридрихов, Штейнов и Гарденбергов, никто из них не сделал столько для ее просвещения, как, например, Лютер, Лейбниц, Кант и целый ряд ее великих общественных деятелей, часто очень ничтожных и посредственных, как деятелей государственных. Самые замечательные государственные люди суть только умные или смелые исполнители внушений и идей, уже высказанных деятелями общественными.

Подчиненное, служебное отношение государства к обществу еще яснее видно из того, что каждый государственный деятель выходит из общества же и никогда не перестает принадлежать ему, если не как писатель, то просто как семьянин, как человек известной веры и народности.

Петр Великий и его реформа отнюдь не опровергают этого положения, напротив: он даже служит блистательным подтверждением этого закона. Петр I был не только деятелем государственным, но и общественным, вот почему и громадна так эта историческая личность. Но это сочетание, хотя и неравномерное, двух деятельностей в одном лице, если и составляет особую силу Петра, то зато и скорее увлекало его к смешению двух отдельных сфер — общественной и государственной, помогло ему сообщить реформе характер принудительный и насильственный. В этом отношении смело можно сказать, никто более самого Петра так не вредил успеху многих его поистине гениальных замыслов, ибо всякая новая идея торжествует в обществе полнее и успешнее, когда она не опирается ни на какую внешнюю силу. Между тем Петр, деятель общественный, постоянно соблазнялся своею внешнею властью и пускал в общество свои идеи не в форме свободного слова, допускающего и вызывающего возражения, но в форме законов и указов, всегда и везде имеющих силу

обязательную, принудительную. Петр сам, кажется, чувствовать эту ложь своего положения и потому так любил снимать с себя царское звание и смешиваться с подданными.

Вот в чем собственно состоит и исполинский подвиг реформы, и односторонний ее характер, обративший реформу в крутой, насильственный переворот.

Как государство зависимо от общества, точно так же и высшие слои народа — от низших, от них получающие и силу и значение. Как государство заимствует себе руководящие начала от общества и только применяет к своим целям идеи, выработанные деятелями общественными, точно так же и эти последние, поэты, проповедники, мыслители, публицисты черпают себе силы у народа, только формулируют его воззрения, выясняют и возводят в сознание народные начала, бессознательно почившие в языке, верованиях, поэзии и быте народа. Общее может проявляться только во множестве и разнообразии особенностей. Свое общечеловеческое значение проявляют народы своими великими деятелями и находятся к ним в таком же отношении, в каком художники и мыслители к своим созданиям. И таким образом, говорить например, что Аристотель, Шекспир, Карл В., Петр I были выше своего народа — все одно, что признавать в Гамлете, сикстинской Мадонне и «Феноменологии духа» — более гениальности, чем в Шекспире, Рафаэле и Гегеле. Конечно, тут сходство или аналогия — только приблизительные, ибо если мы представим себе дух Шекспира как мастерскую, изготовившую Лирова, Макбетова, Гамлетова и т. д., то мы должны будем представлять себе народный дух Англии такою мастерскою, которая заготовила не только Шекспира с его Гамлетами, но и Бэкона, Ньютона, Гершеля, Вальтер-Скотта и т. д. со всеми их произведениями. Таково собственно отношение великих народных деятелей к самим народам. Чем богаче народ внутренними силами, тем сильнее бывает в нем общество; а чем сочувственнее к нему, к его стихийной, бессознательной жизни та среда, в которой выясняются, формулируются его народные начала, тем живее и свободнее проявляет он на свет божий свои силы. История предлагает нам несколько примеров, как передовые классы народа, владея большим досугом и большими материальными средствами, забывали о своих обязанностях в отношении к народу, начинали господствовать над ним и не о том помышляли, чтобы трудом, мыслью и подвигами жизни выяснять народные начала, а, напротив, старались навязывать народу чужие иноземные теории и учения, воспринятые ими рабски, некритически. При этом точно так же извращается естественный закон развития обществ, как и в том случае, когда государство само становится себе целью и когда оно не прилаживается и не применяется к народу, не слушается его голоса, а, напротив, хочет просвещать народ, не служит ему, а берет его под свою опеку и водит его на помочах.

Такова система так называемых полицейско-военных государств, при которой свободная общественная деятельность совершенно изнемогает под бременем государства.

Вот те два положения об отношениях общества к государству и народности к обществу, на которые я считал долгом указать для характеристики петербургского периода. Эти два начала или закона так тесно между собою связаны, что там, где существует разрыв между народом и его передовыми классами, где, словом, общество ненародно, там непременно и общественная жизнь подавлена государственною. Ни Петр I, ни Ломоносов не сознавали этих начал, хотя и тот и другой блистательно их подтверждают. Все, что они произвели великого и замечательного, находится у них в полном согласии с этими началами. Нарушая их, подобно Петру Великому, очень часто, Ломоносов сам же вредил своей деятельности. Деятель общественный по преимуществу, он имел своим призванием — ограничить и умерить крайности реформы Петра, преобладанием государственности убивавшей в обществе всякий дух зачинания. Ломоносов образовал литературный язык, положил начало русской словесности и науки, создал в России новую общественную силу. Честно служа своему призванию, Ломоносов решительно, однако, не сознавал неправды петровской реформы. Бессознательно ей противодействуя, он в то же время далеко несвободно и некритически относился к Петру Великому. Его восторженные похвалы Петру I часто отзываются каким-то языческим поклонением:

Нептун познал его державу,  
С Минервой сильный Марс гласит:  
Он бог, он бог твой был, Россия,  
Он члены взял в тебе плотские,  
Сошед к тебе от горних мест.

Известно, какое негодование возбуждали эти слова в раскольниках, и в этом отношении Андрея Денисова, как деятеля общественного, нельзя не ставить выше Ломоносова, который своею государственною поэзиею, своими казенными и официальными одами давал ложное направление русскому просвещению и силою своего дарования узаконивал и как бы освящал разрыв, образовавшийся у нас между народом и его передовыми классами. Многие его предложения относительно академии и вообще народного просвещения не были исполнены именно потому, что он проводил их путем официальным, часто являясь чиновником там, где ему следовало бы оставаться свободным общественным деятелем. В теории — смелый поборник свободы мысли и слова, в жизни — он требует цензуры, постоянной опеки государства над обществом. В свою чисто общественную, нравственную борьбу он часто приносил характер официальный, принудительный и насильственный и тем самым

подкапывал свое великое дело. Впрочем, было бы величайшею несправедливостью обвинять в этом лично одного Ломоносова, точно так же как и всю вину переворота взваливать на одного Петра. Единичная воля, при всей своей свободе, не может не подчиняться силе исторических условий и обстоятельств. Ни честь реформы, ни упреки за их неправду и насильственность не падают исключительно на одного Петра. Могущий гений, он был истым сыном России XVIII века, человеком известного направления, которое возникло на Москве еще в XVI веке и, предъявляя некоторые справедливые требования, далеко, однако, не выражало всех существенных и высших потребностей народа. Наконец, при всей своей громадной энергии, Петр никогда бы не успел сообщить реформе характер насильственного переворота, если бы, так сказать, не вызвала его к тому сама земля, если бы не было на то в народе некоторого тайного согласия. И действительно, состояние народной нравственности России XVII века обличает слабость ее веры в начала братства, общения и любви; а слабость такой веры в обществах не допускает свободы совести, свободы мысли и слова, без которой невозможна никакая гражданская или политическая свобода. С ослаблением веры в людях в силы духовно-нравственные крепнет у них вера в силу внешнюю, обязательную и принудительную. В личном образовании — торжество рационализма, а в общественном — государственности постепенно приготавливалось в русской истории еще задолго до Петра Великого. В XVII веке у нас чувствовалась общая потребность преобразований; современная действительность никого не удовлетворяла. Вследствие разных исторических обстоятельств, заставлявших отдельные русские княжества и земли для достижения необходимого единства жертвовать в пользу Москвы своими областными привязанностями, местными правами и обычаями, русский народ достиг, правда, великого результата, которого еще добиваются теперь великие западные народности, итальянская и немецкая; но, вместе с этим, он постепенно отвыкал не только от внешнего гражданского самоуправления, но и от внутреннего, лично нравственного самообладания, стал нередко более уважать внешнее, чем внутреннее, единство. Видя силу созданного им государства и забывая, что она идет от него же, русский народ в XVII веке ожидал и требовал преобразований в своем быту от государства. Эти ожидания и требования, так сказать, вызвали Петра Великого, а состояние народной нравственности помогло его реформам принять характер крутого переворота. Эта односторонность породила односторонность Ломоносова, который не мог, подобно нам, видеть ее в реформе Петра, ибо был слишком близок к нему не только по духу, но и по времени. Всякое же начало, однажды допущенное в жизнь общества, не прежде может обличить свою односторонность, как вполне исчерпав свое содержание. Вот почему ясное

и определенное сознание односторонности Петровской эпохи стало доступно только новейшему времени.

Таким образом, мы видим теперь, в чем состояла односторонность мнений о Ломоносове его преемников, позднейших деятелей нашей образованности, в чем заключались внутренние противоречия и односторонность деятельности самого Ломоносова и откуда они проистекали. В настоящее время мы можем относиться к Ломоносову вполне свободно и беспристрастно, как к деятелю уже прожитой нами эпохи, признанной нами не только в ее односторонности, но и в ее исторической законности.

## 2

Один из даровитейших учеников Ломоносова и первый замечательнейший после него русский академик, Лепехин, в описании своем Архангельской губернии 1772 года, перечисляя различные волости по Северной Двине, между прочим, наивно замечает: «Кууроостровская волость тем наиболее примечания достойна, что в оной родился славный наш господин, статский советник, Михайло Васильевич Ломоносов». Это титулование Ломоносова, разумеется, забавно; но во время Лепехина прибавка титула к имени человека с чином считалась такою же необходимостью, как у нас, до сих пор, прибавка слов: *барон, граф, князь* к именам лиц, почему-либо носящих такие титулы. Лепехин хорошо знал Ломоносова, его характер и привычки, знал, что его славный учитель до конца своей жизни находился в самых близких сношениях с своими земляками. Объездивший всю европейскую Россию, Лепехин из своего путешествия по Архангельской губернии вынес самое благоприятное впечатление о поморах. Он с великим уважением отзывается об их уме и многосторонних дарованиях. Так, заметив однажды, что между ними много медников и оловянишников, он продолжает: «И вообще жители сея страны, по природному их остроумию, весьма замысловаты; я видел из крестьян таких искусников, которые без дальнего показания сделали настольные часы с курантами, выписным аглинским подобные. И еслиб у них был какой добрый путеводитель, то бы могли увидеть в сем краю металлическую работу в совершенстве». С таким же уважением упомянув о резных работах архангельских крестьян, Лепехин прибавляет, что и «женский пол превосходит многих россиянок», что тамошние женщины очень искусны и трудолюбивы, например: прядут нитки, ни в чем не уступающие голландским, и т. д. Таким образом, Лепехину, ученику Ломоносова, и в голову не приходило находить что-нибудь странное и особенное в появлении своего славного учителя среди поморов. Он и его ученик Озерецковский, впоследствии такой же замечательный ученый, собрали на месте любопытные известия о первых годах жизни Ломоносова, преданиям которого они оставались верны всю свою жизнь

и были, можно сказать, последними русскими академиками в его духе. Но у наших писателей-литераторов XVIII века, вообще мало знакомых с ученою деятельностью Ломоносова и еще более чуждых народности, сложился ложный, чувствительный, сентиментальный взгляд на его детство и юность. Этот взгляд и теперь почти господствует у нас в обществе и в литературе. Так, он же еще не давно был высказан в двух последних сочинениях, в которых говорится о первых годах жизни Ломоносова. Разумею статью М. И. Погодина о Ломоносове 1854 года и книгу г. Максимова «Год на Сквере», 1859 год. Оба они одинаково искренно выражают свое удивление, что из среды поморов, из крестьян архангельских мог выйти тональный отец нашей словесности.

Вот подлинные слова М. П. Погодина: «Кому вспадет на ум, кто мог когда-нибудь вообразить, что продолжать дело Петрово в области самой высокой, преобразовать родной язык и посадить европейскую науку на русской почве предоставлено было судьбою простому крестьянину, который родился в курной избе, там, там, далеко, в стране снегов и метелей, у края обитаемой земли, на берегах Белого Моря, который до 17-летнего возраста занимался постоянно одною рыбною ловлею, увлекся на несколько времени в недра злейшего раскола и был почти сговорен уже с невестою из соседней деревни».

Точно так же выражались и все почти наши писатели, с тою только разницею, что один особенно останавливался на *бедной хижине рыбака*, другой — на *болотах холмогорских*, третий — на *пустынном, хладном севере*. Карамзин говорит: «Рожденный под *хладным небом северной России*, с *пламенным* воображением, *сын бедного рыбака* сделался *отцом* российского красноречия и вдохновенного стихотворства». Менялись слова и выражения; мысль оставалась та же, мысль не только ложная, но и обидная. Великие люди, сильные общественные деятели являются не случайно, а естественным плодом предыдущего исторического развития своей родины. Они выходят из недр народа, бывают с ним связаны тесно, органически. В удивлении нашем явлению родоначальника словесности из простого народа выразился только тот старый, ложный взгляд на развитие обществ, по которому будто бы государство образует, просвещает общество и народ. В наших сентиментальных названиях: *хижина*, *селянин*, *мужичок* — нередко скрываются смешная и, признаться, глупая, ничем не оправданная гордость и совсем неуместный покровительственный тон. В том, что Ломоносов происходил из крестьян, нет ничего странного и удивительного. Напротив, было бы в высшей степени удивительно и странно, было бы совершенным чудом, если бы такая гениальная личность могла явиться в XVIII веке из нашего служилого или духовного сословия. Но история обошлась без всякого чуда; все происходило совершенно есте-

ственно и законно: почти в одно и то же время русской литературе даровали наши сословия, каждое по мере своих сил и способностей, духовное — Тредьяковского, дворянское — Сумарокова, крестьянское — Ломоносова. Все эти три деятеля оставались до конца жизни верными своему происхождению.

Так живо изобразивший нам быт поморов, г. Максимов не освободил, однако, от ложной чувствительности своего взгляда на Ломоносова. Привожу слова Максимова и для того, что они живо знакомят с видом и положением деревни, родины Ломоносова. «Скорбный вид окрестности деревни Денисовки: низменный остров, едва не понимаемый в полую воду разливом Двины; низенькие, болотистые кочки, рассыпанные между деревнями, которых так много на Кур-Острове; серые бревенчатые избы деревень этих; болотины между холмами с просочивавшейся грязной водой; побережья всех сторон, затянутые чахлым ивняком, из-за которого в одну сторону видны Холмогоры с своими старинными церквями, давними преданиями; повсюду — жизнь, закованная в размеренную, однообразную среду, в одни помыслы о тяжелой трудовой жизни на промыслах; и нет ничего в этой жизни резко-поэтического, нет ничего, могущего питать душу и сердце. И вот, из того же ивняка, с противоположной стороны, на горе открывается новый вид: вид села Вавчуги. Там еще живут свежими преданиями о Петре Великом; там еще так недавно был он, гостил не одни сутки у богатого, умного владельца Вавчуги, Баженина, которого любил ласкать и жаловать великий император. *Вот все, что было перед глазами Ломоносова во время его безотрадного, бедного впечатлениями и воспитанием детства! Вот чем питался он в самую впечатлительную пору своей славной жизни!*» Заметим, что это — далеко не все, что было перед глазами Ломоносова, если разуместь не только детство, но и его отрочество и юность. Сентиментальность воззрений происходит обыкновенно от неверного познания действительности и живых отношений предметов. Несмотря на свое живое знакомство с народом и даже земляками и родиною Ломоносова, г. Максимов не избежал этой ложной чувствительности по недостатку своих сведений об его трудах и деятельности. Так, раз он назвал Ломоносова *гением математики*, между тем как к ней он вовсе не имел призвания, и даже недостаток глубоких в ней сведений много вредил его физическим теориям и исследованиям, часто в высшей степени замечательным. В другом месте г. Максимов замечает: «Академик Озерецковский, совершивший свое путешествие с Лепехиным, товарищем по службе и занятиям с Ломоносовым, в то время, когда еще жив был последний, собрал известия о его жизни» и проч. Здесь, что ни слово, то — грубейшая ошибка. В 1772 году Озерецковский был не академиком, а студентом, который, по возвращении из экспедиции в 1774 году, был отправлен академию в университеты лейденский и страбург-

ский и воротился из-за границы доктором в 1778 году, произведен в адъюнкты в 1779 году, а в академики — в 1782 году. Лепехин был не товарищем, а одним из позднейших питомцев Ломоносова; произведен в студенты академии в 1760 году, когда ему было 20 лет; в адъюнкты — по возвращении из-за границы, в 1768 году, а в академики — в 1771 году, уже через 6 лет спустя по смерти Ломоносова (1765).

По мнениям этих двух писателей, из коих один известен, как знаток русской истории, а другой — как даровитый наблюдатель живого народного быта, можно довольно верно судить об общем состоянии нашей образованности и о господствующих в ней воззрениях на русскую народность и историю. Предоставляем решить другим, возможны ли подобные ошибочные мнения и неверности в сочинениях известных французских, английских, немецких писателей о такой их отечественной знаменитости, какую у нас составляет Ломоносов, и с кончины которой не прошло и полных ста лет.

Родина Ломоносова, *двинская земля*, как и вся нынешняя Архангельская губерния, первоначально занята была одною чудью, населявшею, хотя и очень неплотно, не только весь наш север, но и ту *ростовско-суздальскую землю*, которая послужила ядром московского государства. Впрочем, славяно-русские поселения из Новгорода уже существовали в XI веке в Матигорах и Ухт-Острове, нынешних волостях города Холмогор, впервые упоминаемого летописью под 1417 год. По следам ли финских инородцев, первых насельников края, или сами непосредственно, только новгородские поселенцы, двиняне рано вступили в постоянные сношения с ростовско-суздальскою землею. Этим сношениям не мог не благоприятствовать самый состав населения нынешней Вологодской губернии, в западную часть которой проникла стихия славянская не только из Новгорода, но и из Ростова. Подобно всем вообще колониям новгородским, двинская земля рано обнаружила стремление к независимости, и в борьбе, начатой в XII веке с Новгородом князьями суздальскими и оконченной в 1478 году великими князьями московскими, мы не раз встречаем двинян на стороне последних, так что уже Новгороду приходилось усмирять их силою. При падении великого Новгорода двиняне поддались Москве без всякого сопротивления, без особенных каких-нибудь условий. Они издавна имели с нею торговые дела, ежегодно поставляя к великокняжескому двору и сбывая на тамошние рынки меха, рыбу, сало и проч. Двинская земля сохранила в целости свое самоуправление, в этом отношении едва ли не более других уездов поморских городов отличаясь от прочих областей московского государства, где в XVI и особенно в XVII веке черносотенные волости, свободные крестьянские общины по большей части упразднялись, были приписываемы к монастырям, обращаемы в дворцовые волости и еще более раздаваемы в по-

местья и вотчины. Новая власть четвертей, приказов, воевод, подрывавшая самостоятельность областей, пользовалась сравнительно очень слабым влиянием на севере. Построение Архангельска, через который со второй половины XVI века завязались у нас постоянные прямые сношения с Западом, с англичанами, голландцами и немцами из Бремена и Гамбурга, промыслы поморов на Белом море и Северном океане, поездки их в Норвегию, на Новую Землю, Колгуев и Грумант — все эти обстоятельства не могли не действовать особенно благоприятно на их внешнее благосостояние и умственное развитие. Известно, что береговые жители преимущественно отличаются живостью и восприимчивостью, дерзкою отвагою и решимостью, словом, всегда бывают прогрессивнее жителей внутренних областей. До открытия постоянного судоходства по Волге и Каме, вся наша торговля с Сибирью шла через нынешнюю Вологодскую губернию. Устюг, Тотьма, Сольвычегодск славились своими богатствами. В Вологде англичане содержали торговые конторы, и там же, при Алексее Михайловиче, заведена была таможня для товаров, шедших к Архангельску, который оживлялся со вскрытием (в первой половине мая) Двины, наполнявшейся тогда плотами с хлебом, скотом и смолою из Мезенского, Веврольского, Важеского и Двинского уездов, барками с разным хлебом, говяжьим салом, мылом, пенькою, рогожею, льняным и конопляным семенем из нынешней Казанской губернии, Устюга, Тотьмы, Яренска и проч. Двинская земля постоянно находилась в живых сношениях с жителями средней России, так что, не утративши старых новгородских преданий, она в то же время совершенно была проникнута умственными и материальными интересами города Москвы и всех подмосковных жителей, которые питали такое же глубокое уважение к соловецкой обители, как и поморы к святыням московским. Двинская земля и в смутное время, и после не отстает от Москвы, тянет к ней, считает ее своим средоточием. Раскол, образовавшийся на Москве, быстро распространяется на всем Поморье. Поездка туда Петра I и тамошняя его деятельность необыкновенно оживили весь край, сообщили ему, особенно двинской земле, небывалое дотоле движение.

Итак, в целой России, в начале XVIII века, едва ли была какая иная область, кроме двинской земли, с более благоприятною историческою почвою и более счастливыми местными условиями для произведения такого общественного деятеля, каким был Ломоносов. Даже немногих и отрывочных, дошедших до нас сведений об его детстве, отрочестве и юности слишком достаточно для того, чтобы видеть всю ложь указанных нами чувствительных возгласов и удивлений, ибо вся последующая деятельность Ломоносова собственно есть не что иное, как отчетливое возведение в сознание и формальное развитие тех преимущественно представлений и образов, которые сложились в его душе. Взвесив и сообразив эти сведения, как следу-

ет, мы перестанем удивляться, как мог явиться гениальный родоначальник нашей словесности на пустынном, холодном севере, а, напротив, даже придем к тому убеждению, что еще никто из наших замечательнейших общественных деятелей не испытывал в своей юности таких богатых и разнообразных впечатлений, не подвергался такому плодотворному и живительному влиянию, как Ломоносов.

Подлинный год его рождения неизвестен. Приблизительно можно указывать на 1710 год. Василий Дорофеев Ломоносов, по словам самого сына, *имел довольство, по тамошнему состоянию*. По известиям, собранным на месте Озерецковским, оказывается явною ложью чувствительное прозвание Ломоносова *сыном бедного рыбака*. Его отец «промысел имел на море по мурманскому берегу и в других приморских местах для лову рыбы, трески и палтусины на своих судах, из коих в одно время имел немалой величины гуккор с корабельною оснасткою. Всегда имел в том промысле счастье, а собою был простосовестен и к сиротам податлив, а с соседями обходителен». Он сам грамоте не знал, но был в родстве и водил дружбу с грамотными. Его первая жена, мать единственного его сына, Михайлы, была из духовного звания, дочь матигорского дьякона. Михайлу он хотел женить и уже сговорил в Коле на дочери *неподлого* человека — должно быть, из духовных или приказных, — который во всяком случае не решился бы породниться с каким-нибудь голышом.

Особенную любовь к книжному четью-петью церковному, к храму божию и к молитвам Михайло мог получить от матери и ее родных. Впрочем, в их же волости были грамотные крестьяне, например: Иван Шубной, который, кажется, особенно любил даровитого парня и выучил его грамоте, когда он однажды пришел с моря уже взрослым; он же дал Михайле 3 рубля и китайчатое полукафтаные при побеге его в Москву. Положительно неизвестно, на котором именно году выучился он грамоте; верно только, что в два года он уже выучился проворно читать псалмы и каноны. Со страстью ходить в церковь — она стояла в 150 саженьях от их избы — читать на клиросе, собирать около себя кружок слушателей и пересказывать им житие какого-нибудь святого угодника, Михайло не мог, конечно, не соединять такой же страстной охоты к слушанью рассказов и поучений стариков и людей бывалых. В то время господствовало на Поморье особенно возбужденное настроение умов: самые высшие вопросы жизни, вопросы религиозные, глубоко занимали народное внимание. По городам, селам, деревням поморским ходили ближайшие ученики Аввакума и страдальцев Соловецких, с энтузиазмом горячеей, искренней веры всюду проповедывали против папских новшеств Никона и, по словам А. Денисова, *присно и всебодно* утверждали людей, *да в древле-отеческом православии непоколебимо пребывают, да новопрозябших многосмущенных новин стрегутся*. Михайло 12 лет был увлечен в раскол, в беспоповщину,

исполненную духа крайнего отрицания, отвергавшую иерархию, брак, проклинавшую царей Алексея, Федора и Петра, проповедывавшую явление антихриста.

Духовный закон с корене съел,  
Закон градский в конец истреблен;  
В закона место водворилося  
Беззаконие и нечестие.  
Мир с любовью остави землю,  
Блуд со злобою и нечистота  
На место любви водворилися,  
Во страны язык уклонилися.  
Трезвость и пост с воздержанием  
И растлением затворилися;  
Пьянственные дома со объядением  
И веселением водворилися;  
С пути христианского совратилися,  
Ко обычаям стран поганых  
Любезно вси склонилися.

Неизвестно, долго ли Михайло оставался в расколе; с вероятностью, однако, можно предполагать, что влияние матери и ее родных, светлые предания о Петре Великом, живо сохранявшиеся в соседстве, в селе Вавчуге и в Холмогорах, много содействовали его выводу из раскола. Но его учение не могло не иметь влияния на даровитого мальчика и, взволновав его душу сомнениями, должно было разбудить дотоле спавшие в нем силы, развить в нем мысль и наблюдательность, привычку к анализу и прениям. Дерзость прежнего отрицания и добровольный сознательный переход в православие должны были утвердить в гениальном юноше крепость нравственных убеждений, поселить в нем всегдашнюю готовность и решимость жертвовать всем для высших целей духа.

Не страшись, душа, страха тленного,  
Поминай, душе, страх вечный,  
Возверзи печаль свою на Господа,  
Предай сам себя в руке божии.  
Изведи воды из очей своих.  
Омывай черность свою греховную,  
Самовластием очерненную;  
Верю наступи на главу змия,  
Любовно зри к самому Богу\*.

Одаренный от природы крепким здоровьем, богатыми физическими силами, с раннего детства знакомый с рассказами о промыс-

---

\* Этот безпоповщинский стих, быть может, происхождения несколько позднейшего; но чувства, им выражаемые, конечно, вдохновляли раскольников и в начале XVIII в.

лах на море и океане, Михайло не мог не привязаться со страстью своей пылкой души к трудам отца, который рано стал брать его с собою на промыслы. В превосходном и малоизвестном у нас сочинении «Описание северных путешествий» Ломоносов однажды упоминает об этих плаваниях. Говоря о направлении ветров, дующих в северных поморских землях, он прибавляет: «С половины мая господствуют там ветры больше от севера, что мне искусством (т. е. на опыте) пять раз изведать случилось, ибо от города Архангельского до становища Кекурского всего пути — едва не семьсот верст; скорее около оно не поспевал, как в четыре недели, а один раз и шесть недель на одну езду положено, за противными ветрами от Норд-Оста. Около Иванова и Петрова дни, по большей части случаются ветры от полудня и им побочные и простираются до половины июля, а иногда и до Ильина дни и т. д. Сие приметил я и по всему берегу Нормандского Моря, от Святого Носа до Килдина Острова». Эти плавания Ломоносова развили в нем то необыкновенно живое чувство природы, которым он, как ученый, превосходит большую часть современных ему натуралистов. Но эта особенность Ломоносова — чисто народная, ибо известно, какими живописными и изобразительными словами и оборотами изобилует язык поморов, любящих своего кормильца окиян-море так же, как остальное наше крестьянство любит свою кормилицу-землю. Эти плавания, вечные разговоры о море, чудные рассказы стариков мореходов об их приключениях на Новой Земле, Груманте, словом, вся жизнь Ломоносова в деревне были для него превосходною школою, воспитавшею в нем будущего физика и географа. Излагая свои теории электричества, воздушных течений, северных сияний, Ломоносов говорит между прочим: «Оные искры, которые за кормою выскакивают, по-видимому тоже происхождение имеют с северным сиянием. Многократно в Северном Океане, около 70 градусов ширины, я приметил, что оные искры круглы». Если не будем помнить о той школе, которую прошел Ломоносов у себя на родине, мы никогда верно не оценим и не поймем его значения и достоинств, как натуралиста. Так, у Ломоносова весьма замечательно прекрасно изложенное им учение его об образовании земной коры. Оно основано на его самостоятельных наблюдениях. В этом отношении очень важно следующее место из второго прибавления к *Металлургии* (§ 106). Оно, между прочим, живо знакомит нас с его прекрасным способом изложения ученых предметов. «Проезжая неоднократно гессенское ландграфство, приметить мне случилось между Касселем и Марбургом ровно песчаное место, горизонтальное, луговое; кроме того, что занято невысокими горками или буграми, в перпендикуле от 4-х до 6-ти сажень, кои обросли; мелким скудным леском, и то больше по подолу, при коем лежит великое множество мелких, целых и ломаных морских раковин, в вохре соединенных. *Смотря*

на сие место и вспомнив многие отмелье берега Белого Моря и Северного Океана, когда они во время отлива наружу выходят, не мог себе представить ничего подобнее, как сии две части земной поверхности, в разных обстоятельствах, то есть одну в море, другую на возвышенной матерой земле лежащую. Тут — бугры, скудные прозябением на песчаном горизонтальном поле; там — голые каменные луды на равнине песчаного дна морского. Здесь ржавую землю соединенные в подоле черепокожные; там держащиеся за обсохлую туру и за самый камень морские раковины. Не указывает ли здесь сама натура, уверяя о силах, в земном сердце заключенных, от коих зависят повышения и понижения наружности? Не говорит ли она, что равнина, по которой ныне люди ездят, обращаются, ставят деревни и города, в древние времена было дно морское, хотя теперь отстоит от нее около трехсот верст, и отделяется от него Гарцскими и другими горами?» Одной из самых душевнейших мыслей Ломоносова было снаряжение северной экспедиции для открытия пути в Америку. Еще в 1747 году писал он (в 8-й оде):

Се мрачной вечности запону,  
Надежда отверзает нам.  
Где нет ни правил, ни закону,  
Премудрость тамо зиждет храм;  
Невежество пред ней бледнеет;  
Там влажный флота путь белеет  
И море тщится уступить!  
Колумб российский через воды  
Спешит в неведомы народы  
Твои щедроты возвестить.

В другой своей оде (11-й) в 1752 году Ломоносов снова высказывает это желание:

Напрасно строгая природа  
От нас скрывает место входа  
С берегов вечерних на восток.  
Я вижу умными очами;  
Колумб российский между льдами  
Спешит и презирает рок.

Всю жизнь томился Ломоносов страстным, беспокойным желанием открыть Северным океаном новые земли, усовершенствовать искусство мореплавания. Черта — опять чисто народная, местная. Конечно, и сам Ломоносов знал таких поморов, каким был, например, по словам Озерецковского, некто мезенский крестьянин Рахманин, 40 лет упражнявшийся в мореходстве. Он шесть раз зимовал на Шпицбергене, пять лет провел в Сибири для тамошнего мореплавания из реки Енисея, двадцать шесть раз зимовал на Новой Земле. Озерецковский замечает про Рахманина: «Грамотен, любо-

пытен и имеет неограниченную склонность к мореплаванию и охоту к обысканию неизвестных земель». Земляк, почти ровесник Рахманина, Ломоносов вполне раскрывает свою энергическую поморскую природу, тоскующую от равнодушия современников к морским путешествиям. В заключение своего «Проекта северной экспедиции» так опровергает он возражения против ее пользы и необходимости: «Жаление о людях много чувствительнее, нежели о иждивении. Однако, поставим в сравнение пользу и славу отечества: для приобретения малого лоскута земли, или для одного только честолюбия посылают на смерть многие тысячи народа, целые армии, то здесь ли должно жалеть около ста человек, где приобрести можно целые земли в других частях света для расширения мореплавания, купечества, могущества, для государственной и государственной славы, для показания морских российских героев всему свету и для большего просвещения всего человеческого роду? Если же толикая слава сердец наших не движет, то подвигнуть должно нареkanie от всей Европы, что, имея Сибирского Океана оба концы и целый берег в своей власти, не боясь никакого препятствия в поисках от неприятеля и положив на то уже знатные иждивения с добрыми успехами, оставляем все втуне, не пользуемся божеским благословением, которое лежит в глазах наших и в руках тщетно, и содержа флоты на великом иждивении, всему государству чувствительном, не употребляем в пользу, ниже во время мира оставляем корабли и снаряды в жертву тления и людей, к трудам определенных, предаем унынию, ослаблению и забвению их искусства и должности» (стр. 130–131).

Дайте правильное, ученое воспитание Рахманину и другим его землякам, и они станут говорить то же самое, что и Ломоносов, который собственными лишениями, тяжелым опытом, сам на деле изведаль, «коль много есть в море опасностей, которым не токмо корабли, великими трудами и многим иждивением построенные и дорогими товарами нагруженные, но и жизни человеческие подвергаются...» «К спасению толикого добра, — говорит Ломоносов (в своем «Рассуждении о большой точности морского пути»), — все должно употреблять силы, и против толь великого и страстного исполина, каков есть океан, всеми подвигами и хитростями надлежит ополчиться». И так, созерцания величавых явлений северной природы, морские плавания, постоянное обращение с мореходами, словом, все детские, отроческие и юношеские впечатления, представления и опыты Ломоносова были, так сказать, зародышами, которые созрели в нем впоследствии, при соприкосновении его с западною образованностью, при формальном его развитии и выродились в замечательные теории: о тепле и стуже, об образовании льдов, о действиях внутреннего, подземного огня, о возможности проникнуть Северным океаном в Америку, теории электричества, магнетизма и т. д., часто весьма ошибочные и во всяком случае теперь

устарелые, но бесспорно имеющие важное историческое значение и свидетельствующие о несомненном, великом даровании Ломоносова, как естествоиспытателя.

Деревенская жизнь Михайлы, его морские плаванья, борьба с суровою природою, страшные физические лишения, с которыми неразлучна жизнь поморов, не только развили в Ломоносове необычайные физические, но и нравственные силы, закалили его характер, приготовили его к борьбе, подвигам и испытаниям, ожидавшим его на других поприщах. Ломоносов еще юношею так часто видал и испытывал всякие опасности, так близко бывал к смерти, что страх ее был ему совершенно незнаком, и всю свою жизнь он оставался верен этому чисто христианскому воззрению на смерть, которое вообще глубоко проникло в русского крестьянина.

Непреклонная сила и мужество, бесстрашие, всегдашняя готовность ринуться в борьбу — таковы всегда были высшие идеальные требования Ломоносова, природа которого исполнена этой суровой энергии жителя севера.

Опасен вихрей бег, но тишина страшнее,  
Что портит в жилах кровь свирепых ядов злее.  
Лишает долгой зной здоровья и ума,  
А стужа в севере ничтожит вред сама (Петр В.)

К любимейшим образам Ломоносова принадлежал образ величавой, несокрушимой силы, подобно утесу, который:

Как верх высокие горы  
Взирает непоколебимо  
На мрак и вредные пары.  
Не может вихрь его достигнуть,  
Ни громы страшные подвигнуть:  
Внесен к безоблачным странам,  
Ногами пути попирает,  
Угрюмы бури презирает,  
Смеется скачущим волнам\*.

Таким образом, явление Ломоносова, натуралиста и общественного деятеля, среди поморов не заключает в себе ничего странного и удивительного; но тем более исторически законно крестьянское

---

\* Сравните Лермонтова:

Урок невежд, урок людей  
Души высокой не печалит;  
Пускай шумит волна морей,  
Утес гранитный не повалит.  
Его чело — меж облаков,  
Он — двух стихий жилец угрюмый,  
И, кроме бури да громов,  
Он никому не вверит думы.

происхождение Ломоносова, как отца русской словесности в ее тесном значении и образователя русского литературного языка, творца русской грамматики, автора риторики, похвальных речей и исторического учебника. Действительно, никто из наших писателей по настоящее время включительно не обладал таким, как Ломоносов, живым, непосредственным знанием русского языка и народного быта. Та народность речи, которой путем долгого, сознательного изучения достигла наша литература в своих позднейших деятелях, как, например, Грибоедове, Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Аксакове, Островском и проч., никогда не была для Ломоносова чем-то искомым и, следовательно, внешним. До 20 слишком лет Ломоносов и говорить не умел иначе, как чисто по-народному, ибо все это время он жил, мыслил и чувствовал совершенно по-крестьянски, по-мужицки. Любознательный, восприимчивый парень, Михайло, конечно, слышал, если не сам знал наизусть, больше и лучше своих ровесников, различные песни и былины о киевских и новгородских богатырях, о царе Иване Васильевиче. Судя по тому, как еще во многих отношениях свежо сохранилась народная старина в современном Поморье, смело можем заключать, что в начале прошлого столетия в ней жило множество песен, былин, сказок и различных народных преданий, которые теперь уже утрачены или сильно искажены. Во время Ломоносова, в двинской земле еще, без сомнения, сохраняли свою свежесть различные предания, например: о борьбе славянской стихии с финскою, о господине Великом Новгороде, о Марфе Посаднице, имевшей здесь свои поместья, о митрополите Филиппе, о паньках литовских. Ломоносов в детстве и юности должен был видеть много стариков, отцы которых живо помнили смутное время, которые сами были участниками или очевидцами всех смут по делу патриарха Никона, соловецкой осады и других важнейших событий царствования Алексея Михайловича, стрелецких бунтов... О Петре В. Ломоносов слышал самые разнообразные толки и рассказы: с одной стороны — проклятия беспоповщинцев, прозывавших его антихристом, а с другой — самые светлые и любовные воспоминания о нем, об его простом обращении с народом, об его неутомимой деятельности в соседней Вавчуге, в Холмогорах, Архангельске, где он раз прожил более шести недель и сам собственными руками заложил корабль на острове Соломбале. Во времена Ломоносова, на реке Вавчуге, впадающей в Двину, против Кур-Острова, славились лесопильный завод и корабельная верфь братьев Бажениных, на которой еще в конце XVII века, до приезда туда Петра, сооружались купеческие корабли для англичан и голландцев. Петр посетил их дом, дал им грамоту, ободрил, поощрил их, поручил им выстроить большой купеческий корабль, впервые назначенный к отправлению за море с русскими товарами. Лепехин говорит, что «до сегодня (1772 г.) Баженины содержат верфь в цветущем состоянии, что детей своих

для лучшего изучения кораблестроения они отправляли в молодых летах в Голландию и Англию». Ломоносов еще юношею знал многих почитателей памяти Петра В., которые не могли без особенного волнения и гордости вспоминать о первом царе, посетившем их край и так любившем их морской промысел. Еще в Ломоносове-крестьянине зародилась та пламенная любовь к Петру В., которою он так отличался впоследствии и которая ему нередко мешала глядеть беспристрастно на его обожаемого героя. Нельзя, кажется, сомневаться, что в следующих стихах своей поэмы «Петр Великий» Ломоносов выразил те чувства и представления, которые не раз смутно овладевали его душою, когда еще он был крестьянином:

Монарх наш от Москвы простер свой быстрый ход  
К любезным берегам полных белых вод,  
Где прежде меж валов душа в нем веселилась,  
И больше к плаванью в нем жажда воспалилась  
О, коль ты счастлива, великая Двина,  
Что славным шествием его освящена!  
Ты тем всех выше рек, что устьями своими  
Сливаясь в сонм один со безднами морскими,  
Открыла посреди играющих валов  
Других всех прежде струй пучине зрак Петров.  
О, холмы красные и острова зелены,  
Как радовались вы сим счастьем восхищены!  
Что поздно я на вас, что поздно я рожден  
И тем толикого веселия лишен;  
Не зрел, как он сиял величеством над вами  
И шествовал по вам пред новыми полками;  
Как новы крепости и новы корабли,  
Ужасные врагам в волнах и на земли  
Смотрел и утверждал противу их набегу,  
Грозящему бедой архангельскому берегу,  
Дабы российскую тем силу разделить,  
От ингерских градов осаду отвратить.

В самом деле, и не такой гениальный, как Ломоносов, но всякий смысленый, восприимчивый крестьянский мальчик и юноша Поморья, любой его сверстник, заслушавшись чудных рассказов стариков о бывшем у них царе, мог иногда сожалеть, зачем он так поздно родился и сам лично не видал Петра на своей родной Двине. Вы слышите в этих стихах искреннее чувство местного, областного духа, какую-то гордость своим краем, какое-то предпочтение его другим областям России. И вот перед вами опять Ломоносов-помор, уроженец двинской земли, крестьянин, ибо в ней коренных жителей из других сословий, кроме крестьянского, нет и никогда не было. В своих поездках для промысла и по торговым делам Ломоносов имел случай ознакомиться с бытом и нравами наших северных

инородцев: лопарей, самоедов, зырян и, быть может, отчасти даже и с их наречиями. Это знакомство отразилось на филологических и исторических трудах Ломоносова. Его поездки в Архангельск должны были производить на него самое глубокое впечатление, быть может, не менее, чем на самого Петра, в котором вид Архангельска в 1693–1694 годах не мог не возбудить сильного желания съездить в Европу, преимущественно в Голландию и Англию. Архангельск в летнее время, когда и бывал в нем Ломоносов, был всегда необыкновенно оживлен. К успешной ярмарке приходило к Архангельску до 100 кораблей голландских, английских, гамбургских, бременских с разными произведениями европейской промышленности: с сукнами, полотнами, шелковыми тканями, кружевами, золотыми и серебряными изделиями, винами, аптекарскими материалами, галантерейными вещами. Иностранцы купцы, жившие в Москве, Ярославле, Вологде и в других городах, раннею весною съезжались в Архангельске и оставались в нем до зимнего пути. Торговые иностранцы с своими семействами занимали в Архангельске двадцать четыре дома. В течение 1668–1684 годов для склада товаров русских и заграничных выстроено было, по приказанию царя Алексея Михайловича, иностранцами Марселисом и Шарфом огромное Каменное здание, более версты в окружности, с валом, палисадом, с башнями и бойницами со стороны Двины. Внутри находились кладовые и анбары, съезжая изба и острог, по сторонам — гостиные дворы: на правой стороне от Двины — русский, на левой — немецкий\*. В Архангельске, следовательно еще крестьянином, наглядно ознакомился Ломоносов с некоторыми результатами науки и плодами образованности. Он видал довольно близко жизнь тамошних иностранцев, понимал вместе с своими земляками их хорошие стороны, ценил их ум, знания, трудолюбие и образованность, но узнал в то же время и дурные стороны, за которые давно уже упрекали их поморы и все русские, имевшие с ними какие-либо дела: их корпоративный дух, исключительное, национальное и цеховое направление, их постоянное стремление всячески, в правде и неправде, поддерживать друг друга и при всяком удобном случае вредить русским. И так, ненависть Ломоносова, академика и гражданина, к владычеству иностранцев, немцев, могла зачатся в нем еще на родине, точно так же, как и любовь к знанию, уважение к западной образованности и то высокое беспристрастие, которым всегда отличался Ломоносов

---

\* Ломоносов метко указал на значение финской стихии в России, положительно высказал мнение о родстве мадьяр с чудью: «Не должно сомневаться о единоплеменстве жителей Венгрии с чудью, рассудив *одно только сходство их языка с чудскими диалектами*». В другом месте говорил также Ломоносов: «Эсты, ливы, ижора, карелы, лопари, черемисы, мордва, зыряне говорят языками не мало сходными между собою, которые хотя и во многом разнятся, однако довольно показывают происхождение свое от одного начала».

в оценке заслуг иностранцев. Вообще, в нем в высшей степени замечательно соединение страстной, восторженной любви к Петру В. с страшною ненавистью к игу иностранцев. Это — опять черта чисто местная, архангельская, ибо, конечно, нет в России другой области, в которой оба эти чувства так крепко срослись вместе и так глубоко проникли в народ, как на родине Ломоносова.

Так же несправедливо, слишком неуважительно и свысока относилась наша литература и образованность и к ученым пособиям, к первым трем или двум книгам, которые читал Ломоносов еще в деревне. Наша образованность в своих воззрениях на русскую народность вообще страдает двумя крайностями, всегда почти неразлучными: цинизмом и сентиментальностью. При таком направлении ей нельзя было не проглядеть того могущественного и в высшей степени благотворного влияния, которое имела на Ломоносова церковь с своим богослужением на славянском языке. Вообще, наша наука совсем еще не оценила того великого преимущества, которым все православные народы отличаются перед народами романо-германскими. Русский народ уже несколько веков пользуется возможностью ежедневно слышать в храмах божиих, на родном почти языке, высочайшие образцы чистой христианской поэзии. Ломоносов еще крестьянином знал наизусть большую часть церковных песен, каноны Иоанна Дамаскина и проч. Они развили в нем глубокое внутреннее благочестие, чистый взгляд на веру и на ее отношения к наукообразному отвлеченному знанию, словом, воспитали в нем православного человека, определили его философские убеждения и вливали в его поэзию ту чисто православную струю, которая отличает нашу поэзию от всех европейских, от Ломоносова до Языкова, Хомякова и А. Толстого включительно\*. По этому православному своему характеру Ломоносов, несмотря на свои тяжелые академические формы и ложный классицизм, часто гораздо более *народен*, чем многие наши новейшие писатели, выработавшие себе народные формы, но не идущие далее внешности. Они походят на тех часто очень добродушных юношей наших, социалистов и материалистов, которые отпускают себе бороды и ходят в зипунах. Бритый, стриженный Ломоносов в своем французском камзоле был человеком чисто русским, а наши *умеренные* славянофилы, несмотря на свои зипуны и бороды, остаются для народа иностранцами и обличают в себе истых внуков и правнуков русских петиметров и попovichей схоластиков XVIII века. Образователь литературного языка сам превосходно определил значение церковно-славянского языка в нашей образованности. «Сие богатство (нашего языка), — говорит он, — больше всего приобретено купно с греческим христианским

---

\* Мнение *редакции От. Зап.* об этом предмете было несколько раз высказано, а потому повторять его здесь не будем.

законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славянский для славословия божия. Отменная красота, изобилие, важность и сила еллинского слова, коль высоко почитается, о том довольно свидетельствуют словесных наук любители. На нем, кроме древних Гомеров, Пиндаров, Демосфенов и других в еллинском языке героев, витийствовали великие христианские церкви учителя и творцы, возвышая древнее красноречие высокими богословскими догматами и парением усердного пения к Богу. Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церковные на славянском языке, коль много мы от переводу ветхого и нового завета, поучений отеческих, духовных песней дамаскиновых и других творцов канонов видим в славянском языке греческого изобилия и оттуда умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славянского сродно». Далее Ломоносов говорит: «Рассудив таковую пользу от книг церковных славянских в российском языке, всем любителям отечественного слова беспристрастно объявляю и дружелюбно советую, уверясь собственным своим искусством (то есть опытом), дабы с прилежанием читали все церковные книги...». «Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго церковь российская славословием божием на славянском языке украшаться будет» (О пользе книг церковных).

Но обратимся к первым ученым пособиям Ломоносова. То были: грамматика Мелетия Смотрицкого, псалтирь Симеона Полоцкого и арифметика Магницкого. О книге Смотрицкого некоторые известия даже умалчивают. Во всяком случае она не могла на Ломоносова, юношу, иметь большое влияние, ибо самый ее предмет совсем почти не мог интересовать крестьянина, даже гениального. Притом ее польско-русский язык был мало понятен помору. Вот образец изложения Смотрицкого: «Ведаете абовем, котории стеся грецкой люб латинской грамматики художеству учили, што она есть ку понятю як языка чистости, так и правою, а сочинною, ведлуг власности диалектов и мовеня и писана и писм вырозумена. Вшелякий пожиток, который колвек преречоных языков грамматики чинити звыклы, без вонтценя и славенская в своем языке славенском учинити может». Грамматика Смотрицкого была чрезвычайно полезна Ломоносову уже впоследствии, и то своим содержанием. Безобразный же язык ее принес ему потом одну разве пользу отрицательную, указав на необходимость стремиться к чистоте языка и ясности изложения. Не столько содержание, сколько безобразие языка грамматики Смотрицкого было главнейшею причиною, что на юношу Ломоносова она не могла иметь никакого влияния. Так, западно-русское общество своим подчинением польской образованности само отнимало у себя возможность благотворно действовать на восточную, Вели-

кую Русь. Зато огромное влияние имело на Ломоносова переложение псалмов Симеона Полоцкого, который в своей псалтыри именно старался ближе держаться славянского текста, как он выражался не без пренебрежения западно-русского схоласта к московской грубости и простоте: «снисходя *обычаю рода и страны*». Эта книга вышла в Москве, в 1680 году. Заглавие ее — следующее: «Псалтырь царя и пророка Давида художеством рифмотворным равномерно слоги и согласно конечно, по различных стихов родом преложенная». Автор, или, как он сам себя называет, смиренный рифмотворец посвятил свой труд царю, в котором говорит, между прочим:

Се бо псалтир метрами ново преложися,  
Неции прежде мене негли начинаху,  
Но за трудности многи от дела престаху.  
Аз Богом наставляем, потщахся начати:  
Бог же даде и концем дело увенчати.  
Еже якое первое в метры преложено  
Подобаше да будет первому врученно,  
В православных ти сущу, пресветлейший царю.  
Ты даждь место у тебе сему новому дару.  
Юн Давид Голгафа сильного преможе,  
Даждь ти юну силнаго турка збити, Боже.  
Сего ти богомolec твой верно желаю,  
Милости царстей труд сей и сам ся вручаю.

В прозаическом предисловии к благочестивому читателю говорит Полоцкий в начале о своем «трудолюбном житии во взыскании божественных писаний глубочайшего разума и в них умных сокровищ, тайно положенных, не еже темп мысленными богатствы единому ми красоватися и богатети». Затем упоминает о разных трудах своих, изданных в Москве, и переходит к переложению псалмов, которые «на еврейском языке составишася художеством стихотворения» были перелагаемы в западных литературах. «Видех и на приискрнем нашему славенскому языку диалекте полском книг печатных... не точию во странах полских, но и в Москве обносимыя. Поревновах убо, да и на нашем языке славенском ноне в наших странах обретаемся».

В предисловии, в стихах, к благочестивому читателю Полоцкий объясняет значение своего труда, достоинства подлинника.

Тужде аз рифмы тщахся преложити,  
Не дабы тако в церкви чтенней быти:  
Но еже в домех часто ю читати  
Или сладкими гласы воспевати  
Во славу Богу: ибо услаждает  
Рифм слух и сердце: части понуждает.  
Миряне, песни мира оставляйте,  
Вместо их псалмы Богу воспевайте;

Овы бо ум тлят, Думы погубляют,  
 Сии ум здравят и думы спасают.  
 Пение псалмов есть избранно Богу,  
 Душ наших скверну омывает многу.  
 Старых утеха, юных крашение,  
 Ума старчество и совершение.

Не слушай буих и ненаказанных,  
 В тме невежества злобою связанных,  
 Имже обычай все то обхуждати,  
 Его же Господь не даде им знати.  
 Не буди общник расколы творящим,  
 Всю мудрость в себе заключенну мнящим,  
 А в самом деле пребезумным сущим,  
 Упором своим в погибель текущим.  
 Ни завидящим подражатель буди,  
 Имже чуждии сердце гризут труди,  
 Иже благая за зависть хухпают,  
 Совесть поправше вся уничижают.  
 Но буди правый писаний читатель,  
 Не слов ловитель, но ума искатель,  
 А всяко полза имать быти тебе.  
 Токмо прилежно рассуждати тебе.

Мы с намерением так долго останавливались на псалтыри Симеона Полоцкого. Книге этой выпала счастливая доля, которой бы позавидовал всякий отличный педагог: она была долгое время учителем и воспитателем одного из гениальнейших людей. Ломоносов зачитывался ее, учил ее наизусть, вникал в каждое ее слово и выражение. С его развитием, которому она много содействовала, росло самое значение книги. Ломоносов, конечно, потом читал и находил в ней то, чего никогда не бывало ни на уме, ни в думе Симеона Полоцкого.

Нельзя также без особенной благодарности и уважения вспомнить о книге Магницкого. Заглавие ее — следующее: «Арифметика сиречь наука числительная с разных диалектов на славенский язык преведеная и во едино собрана и на две книги разделена... в Москве ради обучения мудролюбивых отроков и всякого чина и возраста людей на свет произведена. 1703». Большой том в лист, в несколько сот страниц, эта книга представляет род энциклопедии, составлена в духе и по примеру старинных наших учебников, алфавитов, арифметик. По приноровленности к русским потребностям, по характеру изложения и языка, арифметика Магницкого, заменяющая собою и геометрию, и физику, и географию, стоит неизмеримо выше множества позднейших наших учебников. Предисловие Магницкого в стихах:

Приими, юне, премудрости цветы,  
 Разумных наук обтицай верты.

Арифметике любезно учися,  
В ней разных правил и штук предержися.  
Ибо в гражданстве к делам есть потребно  
Лечити твой ум, аще числить вредно.  
Та пути в небе решить и на мори,  
Еще на войне полезна и в поли,  
Обще всем людям образ дает знати,  
Дабы исправно в размерах ступати.  
Опей ты цветы, как крин благовонный,  
Равно и к иным наукам будь охотный.

К книге приложена гравюра, изображающая Архимеда, Пифагора и земной глобус, а над ними — герб.

Стихи на предлежащий герб:

Едине орле двоеглавый,  
Во всех парящий, достославный.  
Ревностно криле распростирай,  
Расточенная си собирай,  
Бедствующая вся охраняй и проч.

Затем говорился об Архимеде и Пифагоре:

Первии бывше снискатели  
Сицевых наук писатели.  
Равно бо водам излиша,  
Многи бо науки в мир издаша.  
Елицы же их восприяша,  
Многу си пользу от них взяша.  
Сия же польза ко гражданству  
Требна каждому государству.  
В древних бо летах цари Грецки  
И нынешнии вси Немецки  
Единако се приимают  
И царство свое управляют.  
Такожде и людей учат выну  
В жительстве иметь все по чину.  
Любить же мудрость и науки  
Чем богатство им придать в руки.

Взгляд Магницкого на науки выражается в его замечании, что «ум словесный должен упражняться в познавании и величании Бога». Эту мысль, почти в тех же выражениях, постоянно проводил Ломоносов в своих трудах. Заведя речь о флоте, он говорит про Петра Великого:

Не им кто, но Бог тобою  
Сотвори ныне, в наша лета,  
Не бывшее от зданья света.

Магницкий говорит, что он всячески старался, чтобы читатель мог его понимать без учителя, «только усердно да прилежен».

И мню аз, яко то имать быть,  
 Что сам себе всяк может учить  
 Зане разум весь собрал и чин  
 Природный Русский, а не Немчин.

Нетрудно себе представить, какое влияние должны были иметь на Ломоносова все такие и подобные замечания и мысли Магницкого, в книге которого, в отделе геометрии, физики, астрономии, навигации, встречаются следующие главы и статьи: «О земном общеразмерении и яже к мореплаванию принадлежат», «О полуденном колесе и линии», «Таблица о склонении магнита», «Таблица склонения солнечного», «Таблица широты востока и запада солнца», «Таблица рефракции или преломления лучей солнца, луны и звезд», «О количестве дне различных мест и о разделении всего земноводного глобуса в климаты», «О именовании климат северных», «Каталог сие есть описание мест и градусов», «О изобретении времени наводнения морского неких поморских мест», «О сравнении верстаней разных государств» и пр. и пр.

С тех пор, как приобрел Михайло эти книги, Полоцкого и Магницкого, он уже просиживал над ними по зимам целые дни. Москва, к которой издавна тянуло Поморье, как к своему духовному средоточию, все более и более занимала теперь его помыслы. Дома, в деревне, он уже не находил прежних радостей. Мать его померла, отец женился на другой. Мачеха, по словам самого Ломоносова, *злая и завистливая*, «всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по пустому за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах и терпеть стужу и голод, пока ушел в спасские школы». Отец Ломоносова, человек умный и добрый, но неграмотный и упрямый, тем легче поддавался наветам жены, что и без того уже был сердит на сына за то, что тот его не слушался и не хотел жениться. Раз уже он сговорил сына на Коле у *неподлого* человека, но Михайло притворился тогда больным. Кажется, до конца жизни Ломоносов не мог равнодушно вспоминать об этих принуждениях и всегда питал глубокую ненависть к насильственным бракам.

Когда родители обманчивой корысти  
 На жертву отдают и совесть и детей (*Тамира и Селим*)

С живейшим негодованием говорил Ломоносов в своей знаменитой записке «О размножении и сохранении российского народа» о неровных и насильственных браках. «Хотя ж по деревням и показывают причины, что женят малых ребят для работниц, однако

все пустошь, затем, что ежели кто семью малую, а много пашен или скота имеет, тот найми работников, прими третьчиков или половинчиков или продай излишне другому». «Неравному супружеству много подобно насильное!.. для того должно венчающим священникам накрепко подтвердить, что они, услышав где о невольном сочетании, оно не допускали и не венчали под опасением лишения чина. Жениха бы и невесту не тогда только для виду спрашивали, когда они уже приведены в церковь к венчанию, но несколько прежде».

Вечные козни мачехи, постоянное ворчанье, попреки отца все более и более становились Михайле невыносимыми, а между тем годы действительно уже подошли; за него, единственного сына зажиточного крестьянина, парня умного, смиренного, красивого, с радостью бы пошла любая девка в околотке, *хорошие отцы охотно выдавали своих дочерей*. Но Михайлу больше всего на свете занимали книги. Надо было, наконец, на что-нибудь решиться — и вот тайный, внутренний голос, демон Ломоносова, давно уже не дававший ему покоя, манивший его куда-то в даль, обещавший ему славное будущее, внушает ему мысль, решительно заставляет его покинуть деревню, отца, товарищей, друзей, могилу матери — все, что было на родине дорогого и милого для него. Он ушел в Москву о которой уже давно мечтал, знакомый с нею из рассказов живавших в ней земляков, из своих любимых книг. Он ушел из дому, как часто уходили на Руси избранные люди, которым дома становилось тесно, как за сто лет до него ушел из села Вельдеманова такой же крестьянский сын, Никита (Никон), от козней мачехи и из любви к книгам, с помыслами о будущем своем величии. Ломоносов, благодаря своим учителям, Полоцкому и Магницкому, шел в Москву не бесцельно. Жажда знания, смутное чувство славы, гордые мечты не только сравниться с *премудрыми мужами, добре еллинским книгам изученными*, по выражению Полоцкого, но и далеко оставить их за собою, твердое упование на Бога и несомненная уверенность, что «Бог все за труды нам платит, все трудами от него приобрести возможно» — вот, кажется, чувства и представления, волновавшие и наполнявшие ум и сердце Ломоносова, когда он, в 1729–30 годах оставлял свою родину. Этим дерзким чаяниям, отважным и смелым надеждам и мечтам он нашел впоследствии выражение:

Владеет наших диен Всевышний сам пределом,  
Но славу каждому в свою он отдал власть.  
Коль близко ходит рок при робком и при смелом,  
То лучше мне избрать себе похвальну часть.  
Какая польза тем, что в старости глубокой  
И в тем бесславия кончают долгой век?  
Добротами исходить на верх хвалы высокой  
И славно умереть родился человек. (*Тамира и Селим*)

Приведем еще примеры из риторики: «Кто лютостию подданных угнетает, тот боящихся боится, и страх на (его) самого обращается». «Счастливого беззаконие нередко добродетелью называют». «Даст, истинно даст себя на мучение блаженная жизнь, и последуя правосудию-воздержанию, а паче всех мужеству, великодушию и терпению, не остановится, возрев на лицо мучителево. И когда все добродетели с нею на мучение пойдут, не устрашится и перед темными дверьми не останется». «Скаредная пред всеми добрыми людьми гордость, которую и сами гордые в других ненавидят, есть первая дочь богатства. Изнуряющая силы телесные, нарушающая здравие и ум, помрачающая роскошь не от излишества ли происходит? Надеясь на свои достатки, какие обиды, презрения, нападения и гонительства богатые бедным наносят? И чрез таковые злобные поведения не мерзость ли и отвращение пред Богом и пред человеческим родом бывают». К этой мысли Ломоносов часто обращался. Она выражена им с большим талантом в его трагедии «Тамира и Селим».

Несытая алчба имения и власти,  
 К какой ты крайности род смертных привела?  
 Которой ты в сердцах не возбудила страсти?  
 И коего на нас не устремила зла?  
 С тобою возрасли и зависть и коварство,  
 Твое исчадие — кровавая война!  
 Которое от ней не стонет государство?  
 Которая от ней не потряслась страна?  
 Где были созданы всходящи к небу храмы  
 И стены, труд веков и многих тысяч лет,  
 Там видны лишь одне развалины и ямы,  
 При коих тучную имеют паству скот.  
 О коль мучительна родителям разлука,  
 Когда дают детей, чтобы пролить их кровь!  
 О коль разительна и нестерпима мука,  
 Когда военный шум смущает двух любовь.  
 Лишь только зазвучит ужасна брань трубою  
 Мягутся города и села и леса.  
 Любовнического исполненные вою  
 И жалоб на удар жестокого часа.

Знакомая, родная картина рекрутских наборов носилась в этот раз пред глазами Ломоносова: в поэзии есть довольно чисто русских мотивов, запятанных только под тяжелыми академическими формами.

В риторике: «Мщение есть подлые души утешение» (Ювенал). В той же трагедии Надир говорит:

Великодушный лев жар тотчас утоляет,  
 Коль скоро видит он, что враг его лежит.

Но хищный волк кота противника терзает,  
Пока последняя в нем кровь еще кипит.

Обращаясь снова к примерам\*, в которых говорится о любви к вольности и гражданском мужестве, заметим, что они в риторике Ломоносова являются отнюдь не случайно: он сам объясняет значение риторики в одной из своих речей. «Знал,— говорит он,— Петр Великий, что ни законов, ни судов правости, ни честности нравов без учения философии и красноречия не ввести».

В различных сочинениях Ломоносова, и в стихах и в прозе, есть несколько упоминаний о Бироне и его времени. Вообще, Ломоносов-семинарист не мог равнодушно выносить тогдашнее владычество иностранцев в России, не мог не питать к ним ненависти «за их неистовую гордость и бессовестное утеснение». По его же словам, заслуживали они, «по закону божию, по государственным правам и по желанию российского народа», «лютой смерти и растерзания».

По возвращении Ломоносова из Киева, в Москве уже было соби-  
рались постричь его и отправить священником в Корелу, как вдруг из Петербурга пришло требование прислать в академию наук несколько семинаристов, знающих по латыни, для обучения их математике и физике. 1 января 1736 года выбранные семинаристы приехали в Петербург. В числе их были: Виноградов, Лебедев, Попов, из коих впоследствии второй — академический переводчик, а третий — профессор астрономии, и Ломоносов, который таким образом, без этого требования из Петербурга, вступил бы в духовное звание — обыкновенный и единственный исход для всех общественных деятелей древней Руси. Но времена изменились. В России уже возникла потребность в иной — не чисто церковной — общественной деятельности, в общественном слове, в литературе и науке.

---

\* Вот, наприм., место из письма о пользе стекла, где говорится о наряде деревенских девушек, которых называет Ломоносов сельскими нимфами и за любезную простоту предпочитает городским, богатым и знатным:

Желанья нежны в вас подобна движет сила;  
Вы также украшать желаете себя.  
За тем прохладные поля свои любя,  
Вы рвете розы в них, вы рвете в них лилеи,  
Кладете их на грудь и вяжете круг шеи.  
Таков убор дает вам нежная весна;  
Но чем вы краситесь в другие времена,  
*Когда, лишась цветов, поля у вас бледнеют*  
*Или снегами вкруг глубокими белеют.*  
Без оных что бы вам в нарядах помогло,  
Когда бы бисеру вам не дало стекло?  
Любовников он к вам не меньше привлекает,  
Как блестящий алмаз богатых уязвляет.  
*Или еще на вас в нем больше красота,*  
*Когда любезная в вас светит простота.*

Петром I подготовлены были и способы и средства к осуществлению той потребности: в Петербурге была учреждена академия наук, а при ней положено начало гимназии и университету, в которых должны были преподаваться те науки, изучить которые так жаждал 20–25-летний крестьянин и семинарист Ломоносов. Но Петербург того времени угрожал России страшною опасностью: Ломоносов мог, правда, ознакомиться в нем с этими науками, но еще скорее мог погибнуть, без всякого следа для русской жизни. При его свободолюбивой натуре, честном и пылком нраве, при его ненависти к немецкому игу в России, при тогдашнем господстве немцев в Петербурге вообще и в академии наук в частности, не только вероятно, но почти несомненно, что за дерзкую речь или смелый поступок Ломоносов попал бы в тайную канцелярию, и таким образом Россия имела бы в нем не гениального отца литературы, а лишнего каторжника в своих рудниках, с обрезанным носом, с вырезанным языком или ободранными ноздрями. По счастью, государство и немцы, стоявшие в его главе, по слепой, конечно, случайности поспешили лишить себя возможности задушить в самом зародыше новую, возникавшую силу русской земли. Государство нуждалось в опытных горных инженерах и металлургах. За три недели до приезда Ломоносова в Петербург, президент академии, барон Корф, 3 декабря 1735 года, написал письмо к саксонскому горному советнику Генкелю во Фрейберг, прося его рекомендовать «искусного и опытного в горном деле химика». По счастью для русской образованности, Германия того времени не страдала, как теперь, избытком всякого рода ученых. В то время и за хорошие деньги нелегко было выписать немецких специалистов в Россию; при том же, тогдашних немцев пугала грубость наших нравов, которую они представляли себе еще в более преувеличенном и ужасном виде. Генкель не мог сыскать барону Корфу требуемого русским правительством немца и отвечал, что для правительства гораздо бы было полезнее, если бы оно отправило молодых, образованных русских людей по Европе, для изучения горного дела, которые бы впоследствии могли научить и других (*und zu Ihrer Majestät Dienst heranziehen*). К чести Германии следует заметить, что подобную же мысль проводил не один Генкель. Знаменитый в то время Вольф писал Блуменросту еще в 1723 году, что для России гораздо полезнее учредить, вместо академии наук, хороший университет, который бы помог впоследствии образовать академию из природных русских. Вольф, отказываясь от сделанного ему предложения приехать в Россию, писал также, что для одного преподавания приезжать ему было бы неблагоприятно, а для России невыгодно, ибо начинающих никаким великим вещам не научить, и, следовательно, нет никакой нужды назначать ему такую высокую плату. Вольф, еще в 1723 году, предлагал присылать к нему молодых русских людей. Как ни преувеличены были

представления немцев германских о грубости русских нравов, как ни пугало или страшило их русское варварство, часто заставлявшее их, несмотря на русское золото, отказываться от переселения в Россию, но все-таки их воображению вечно рисовался величавый образ гениального, грозного Петра, природного русского славянина, с тою властью *кайзера*, которой так давно уже жаждала раздробленная и бессильная Германия; добросовестность немецкого ума не позволяла ему, при мысли о Петре, серьезно отрицать в русском народе большие дарования. Барон Корф и вообще русское правительство уважили совет немца Генкеля. Положено было отправить за границу двух присланных в академию наук московских семинаристов, Виноградова и Ломоносова, присоединив к ним сына одного русского немца, горного советника Райзера. Они должны были прослушать курсы в Марбурге и Фрейберге, а потом отправиться в путешествие по Голландии, Франции и Англии. В марте 1736 года уже состоялся указ об отправлении Ломоносова и его товарищей, но за неполучением денег они могли выехать из России только уже в сентябре. Ломоносов возвратился в Петербург уже по падении Бирона. Таким образом, недостаточное развитие образованности и учености в самой Германии, ее страх и боязнь русской дикости, представляемой для нее страшными бородачами, грозными противниками грозного царя, страх ее, смешанный с завистью и уважением к русской силе и политическому могуществу, были главнейшими обстоятельствами, помешавшими и русским немцам, и их пособникам в Петербурге, всегда послушным голосу из Германии, погубить Ломоносова, в котором созревала тогда дотоле невиданная, совершенно новая сила русской народности. Одна очень почтенная, умная и образованная особа из русских немцев говорила как-то в 1843 году Фарнгагену-фон-Энзе, что русскому народу недостает идеалов, под-разумевая, что обязанность немцев вдохнуть высшую идею в эту грубую массу. «In Russland sei das Wesentlichste, in die Nation Idealen einzuführen, sie zu Veredlung und Ausbüllung des Idealen zu gewöhnen, diese Veredlung thue noth, und diese wünsche sie gefördert zu sehen». Барон Корф принадлежал к числу образованнейших русских немцев. По всей вероятности, он точно так же томился желанием облагородить и оцивилизовать русскую народность и, конечно, всего менее воображал, что самым лучшим для того средством было сократить силу и влияние немцев в России, у покровителя барона Корфа, Бирона и его слуги, А. И. Ушакова, отнять всякую возможность погубить одного только семинариста, родом из самого низкого, подлого, грубого и наиболее невежественного сословия в России. Раз появившись на свет божий, эта новая, невиданная прежде сила в России до такой степени окрепла в какие-нибудь 25 лет, что в 1762 г. русский император Петр III, ревностный поклонник Фридриха II и страстный любитель всего немецкого, отказывает-

ся от престола за несколько дней до похода своего против Дании, до принятия прямого участия в чисто немецком интересе, в датско-голстинском вопросе, который и теперь безуспешно занимает уже в высшей степени ученую и образованную, но по-прежнему неединую Германию. На русский престол вступает природная немка, Екатерина II — и вот Ломоносов, которого так еще недавно легко мог погубить немецкий цивилизующий элемент в России, уже говорит в своей оде «На торжественный день восшествия на всероссийский престол... Екатерины Вторыя».

*Услышьте, судии земные  
И все державные главы:  
Законы нарушать святые  
От буйности блюдитесь вы  
И подданных не презирайте,  
Но их пороки исправляйте  
Ученьем, милостью, трудом.  
Вместите с правдою щедроту,  
Народну наблюдайте льготу,  
То Бог благословит ваш дом.  
О коль велико, как прославят  
Монарха верные рабы!  
О коль опасно, как оставят  
От тесноты своей, в скорби.  
Внимайте нашему примеру,  
Любите их, любите веру;  
Она свирепости узда,  
Сердца народов сопрягает  
И вам их верно покоряет  
Твердее всякого щита.  
А вы, которым здесь Россия  
Дает уже от древних лет  
Довольство вольности златые,  
Какой в других державах нет,  
Храня к своим соседям дружбу,  
Позволила по вере службу  
Беспреткновенно приносить;  
На толь склонились к вам монархи  
И согласились иерархи,  
Чтоб древний наш закон вредить?  
И вместо, чтоб вам быть меж нами  
В пределах должности своей,  
Считать нас вашими рабами  
В противность истины вещей.  
Искусство нынешне доводом,  
Что было над российским родом  
Умышленно от ваших глав  
К поправью нашего закона,*

К российского паденью трона,  
К рушению народных прав.  
*Обширность наших стран измерьте,  
Прочтите книги славных дел  
И чувствам собственным поверьте;  
Не вам подвергнуть наш предел.*  
Исчислите тьму сильных боев,  
Исчислите у нас героев  
От земледельца до царя  
В суде, в полках, в морях и в селах,  
В своих и на чужих пределах  
И у святого алтаря.  
*О коль монарх благополучен,  
Кто знает россами владеть* и проч.

Что Ломоносова не менее И. И. Шувалова беспокоило немецкое происхождение императрицы Екатерины II, для сего достаточно проследить всю эту нить представлений и чувств, занимавших его душу, когда он писал эти строфы. Появление этих строф в печати в 1762 году, притом в торжественной оде на вступление на русский престол бывшей принцессы ангальт-цербтской, может служить самым лучшим доказательством того великого нравственного завоевания, которое совершено русским обществом над русским государством в течение каких-нибудь 20–25 лет. За выражения и мысли о немцах в России, несравненно более умеренные, чем в этих стихах Ломоносова, во время его юности и молодости русское государство ссылало всех русских в Сибирь, в рудники и крепости, вырезывало им языки, уши и ноздри. С первых дней своего приезда в Россию возжелавшая в ней царствовать, необыкновенно даровитая и развитая, бесспорно самая великая личность из так называемых эманципированных женщин, природная немка, принцесса ангальт-цербтская, впоследствии императрица, Екатерина II всю жизнь старается быть чистою русскою, и хотя никогда не могла научиться правильно говорить или писать по-русски, но всегда с необыкновенным рвением занималась русским языком, чрезвычайно много писала на нем, на этом славянском языке, про который ее предки, князья германские, и современные, лучшие ее соотечественники иначе не отзывались, как про *Knechtsprache*. Происходит явление дотоле небывалое в истории славянского мира: немцы, повелевающие народом славянским, отрекаются от своего немецкого происхождения и за честь себе ставят производить себя от славян, стараются глядеть на Германию с славянской точки зрения. Положим, старания эти редко бывали удачны, но все-таки в известном отношении нельзя их не ценить: императрице Екатерине II трудно, даже невозможно было совершенно овладеть русскою речью. Что же касается до отсутствия в наших немцах русских, народных воззрений, то в них оно тем бо-

лее извинительно, что само русское, образованное общество Петербургского периода очень слабо проникнуто было ими. Императрица Екатерина II не любила писать по-немецки, всегда гневалась, когда слышала, что в России называют ее все-таки немкой. Она даже сказала однажды своему врачу Роджерсону: «*Saignez moi plus vite, afin qu'il ne reste aucune goutte de sang allemand dans mes veines*», а во время второй турецкой войны писала как-то к князю Потемкину: «*Англичане нам в сем деле не подмогут, захотят нас вмешать в свои глупые и бестолковые германские дела, где не вижу ни чести, ни барыша, а пришло бы бороться за чужие интересы, ныне же боремся, по крайней мере, за свои собственные: тут кто мне поможет, тот и товарищ*»\*. Внуки императрицы Екатерины II, при восшествии своем на русский престол, торжественно заявляли всей Рос-

\* В Екатерине II очень замечательно презрение, с которым она вообще относилась к разным немецким династиям. Вот, для примера, одна очень любопытная ее записка: «*Par la lettre du C-te Razumovsky (посл. в Неаполе) il est prouvé que la cour de Naples met un empressement importun presque à nous doiner un des ses petits monstres. Je die monsfres, car tous ses enfants sont malins tombant du haut mal, confrefaits, laids, sots et mal élevés. Cette cour n'a pas attendu que le C-te Skavronsky recût la réponse à la première ouverture qui nous a été faite par lui sur cette affaire et voilà qu'altérativement l'ambassadeur marqins Gallo a persuadé le C-te Razumovsky de me faire cette proposition comme un bean projet fort utile qu'il aurait enfanté lui même, or ce chef d'oeuvre est ún tissu nuisible d'incohérenee et d'intrigues. Leopold second a marié sa fille à un très cadet de Saxe sans conclure de traité comme quoi se très cadet fut fait indépendant avant que d'épouser sa fille. Le Roy de Sardaigne en a fait autant. Or, une très cadette de Naples pounait très bien épouser un cadet de Russie sans aucune condition et celá d'autant plus qu'Elle ou ses parens en ont un si grand désir. J. M. ignorent aparamment que la Russie est aussi attachée à la religion orientale Grecque qu'eux à l'Occidentate latine. Ils ignorent encore que la religion grecque unie à la latine n'est point du tout un mezzo termine acceptable, que la religion grecque doit être sincèrement professée et sans réserve mentale, qu'une hérité latine ou grecquo-latine ne sera jamais admisc de mon vivant, qu'aucoii directeur latin ne sura dans faimille, que le Pape perd ses intrigues chaque fois qu'il tente d'introduire sa primauté sous quelque voile que ce soit en Russie, que c'est à coup de pierres qu'il en serait chassé présentement tout comme autrefois. А я не привыкла дать на себя кабалу, еще менее дам я подобное в сем деле. Обещание дать в (ел.) К. (князю) К. (онстант.) независимое владение выдуманно, дабы он обязан был двору венскому и неаполитанскому, а не своей крови и отечеству. L. M. I. sout les maîtres de délibérer avec leur confesseur mais celui-ci ne eaurait décider des interêts de mon Etat, de ma famille ni du bonheur futur de mon petit fils. Ce á quoi je pourrais consentir ce serait que mon petit-fils ne se hâtât pas de se marier avant qu'il ne fut établi; d'autant plus qu'il n'a que 14 ans et qu'il n'est rien inoins que formé. Et en attendant L. M. ici seraient libies de marier les princesscs leurs filles selon leurs convenances*». У Екатерины II часто попадаются чрезвычайно меткие политические замечания, например, след. о венском кабинете: *Notez que la cour de Vienne a toujours cherché à nous écarter de toutes les affaires de l'Europe excepté celles où pour la necessité de see propres affaires elle nous entraînait.*

сии, что они пойдут по стопам своей бабки и что, следовательно, держатся ее взгляда на *глупые и бестолковые дела германские*, считая для себя совершенно чужими интересы немецкие. Так совершалось в области государственной подчинение немецкого элемента, превзошедшего в русскую жизнь, русским общественным и народным интересам. Гораздо медленнее происходила в России ассимиляция стихии немецкой в другой высшей, чисто общественной области, в образованности, в промышленности, торговле и науке. Мы знаем, что высшее ученое учреждение в России доселе сохраняет свой исключительный немецкий характер. Однако и петербургская академия наук, отстаивая свой немецкий *statu quo*, никогда не решается публично заявить, что она всегда, например, будет издавать свои бюллетени и мемуары на языке немецком, и ни один самый отчаянный немец-академик не позволяет себе говорить и даже верить, что эта академия должна быть чем-то вроде венской, которая печатает свои издания на немецком языке, потому что тот язык должен быть языком науки и образованности для славян западных. Как бы ни желал каждый из наших немцев не только продлить, но и увековечить современное значение и влияние немецкой стихии в России, но ни один из них не может быть уверен в успехе своих желаний. Одним словом, немецкая стихия в России уже утратила веру в свое самостоятельное будущее; Германия уже не возлагает на нее никаких надежд и все более приходит к тому убеждению, что не только на славянах русских обрывается наконец тысячелетнее порабощение славянской стихии немецкою, но от них же пойдет и обратное воздействие славянского мира на германский, что с помощью России и под ее влиянием может потерять Германия плоды вековых трудов и в полуонемеченных западных землях славянских.

### 3

В 92 верстах от Холмогор находится антониево-сийский монастырь, замечательный тем, что в нем некоторое время жил в заточении боярин Федор Никитич Романов, впоследствии патриарх Филарет, отец первого русского царя из дома Романовых. О жизни его в этом монастыре доселе сохранились предания. Но братия этого монастыря не знают, что он еще более примечателен тем, что в нем некоторое время прожил великий, гениальный отец нашей словесности. В самом деле, покинув деревню, Ломоносов остановился в этом монастыре, где и исполнял псаломническую должность. Сколько здесь он пробыл времени — неизвестно. С обозом рыбы, с своими же земляками пришел он в Москву. Немного, кажется, прожил он дней в неизвестности куда сунуться, как устроиться, как попасть в школы, но страшно тяжелы и томительны должны были быть эти минуты и часы для двадцатилетнего Михайлы. Много он тогда пережил. Но вера в свое призвание и в промысл божий

никогда его не покидала. Однажды, лет через тридцать после этого, писал он своему покровителю, И. И. Шувалову: «Ежели, несмотря на мое усердие, будете гневаться, я полагаюсь на помощь всевышнего, который был мне в жизни защитником и никогда не оставил, когда я пролил перед ним слезы в моей справедливости». Первую ночь в Москве Ломоносов проспал в обшевнях, у рыбного ряду; проснулся раньше всех товарищей. Радость, которую он ощущал накануне при виде белокаменной, сменилась теперь глубокою скорбью; он сознал свое одиночество, свое беспомощное положение: вдали от родных, один в большом городе, без знакомых людей — что ему делать? Горько заплакал он и, обратись к ближней церкви, *усердно молил Бога, чтобы его призрел и помиловал*. Святые, великие слезы и молитва! Они призвали благословение божье на начала русской литературы и науки.

Неизвестны подробности, верно только, что счастливый случай натолкнул на Ломоносова какого-то доброго земляка, жившего в Москве дворецким и имевшего знакомых между монахами. Сначала Ломоносов учился цыфири на сухаревой башне, а потом прибегнул ко лжи и обману: явился к московскому архиерею и выдал ему себя за поповского, а по другим — за дворянского сына, желающего учиться греко-латинским наукам в заиконо-спасских школах. Есть также известие, что впоследствии он сам признался в своем обмане знаменитому новгородскому архиерею, Феофану Прокоповичу, который и обещал ему свою защиту. Сомневаться в действительности самозванства Ломоносова нет ни малейшего основания. Ложью, обманом и отречением от крестьянства должен был начать Ломоносов свою новую жизнь. Он был принят в училище только благодаря этой лжи: без нее в то время русский крестьянин не мог попасть в московскую академию, ибо 1728 году от 7 июня последовал указ святейшего синода, гласивший, чтобы *«помещиковых людей и крестьянских детей, также непонятных и злонравных от помянутой школы отрешить, и впредь таковых не принимать»*. Так, по мнениям нашей высшей иерархии, крестьянские дети должны стоять наравне с непонятными и злонравными детьми из всех других высших, неподлых сословий. Злая, беспощадная ирония истории! Через два года после этого ужасного указа, напоминающего разве польский закон, состоявшийся при короле Александре в 1506 году, он был *по счастью* нарушен; невольно — со стороны московского архиерея и его монахов и вольно — со стороны народа, который, впрочем, для его нарушения ничего уже не мог поделать, как только прибегнуть ко лжи и обману. Итак, вступая в первое тогдашнее русское училище, Ломоносов отрекся от крестьянства и в него уже никогда не возвращался. Я отмечаю только факт и, кажется, знаменательный в истории русского просвещения. Крестьянство, выслав от себя Ломоносова, ссудило высшие сословия одною из своих

сил и сомкнуло свои ряды. Ломоносов положил твердое начало русской литературе и науке, стал начальником нового передела русской образованности, в конце которого общество, по крайности в передовых своих деятелях, пришло к сознанию необходимости тесного сближения с крестьянством, с народом, который, ограничившись одним Ломоносовым, правда остался в совершенном отчуждении от литературы и науки, но зато избавил себя, детей своих от позорного отступничества. Стараясь об открытии петербургского университета, Ломоносов писал однажды И. И. Шувалову: «Видя из вашего письма, что вы уже моего обидчика защищаете, едва принимаю смелость послать к вам сии строки: иначе бы не послал, если меня общая польза отечества к тому не побуждала. *Мое единственное желание состоит в том, что привести в вождеденное течение гимназию и университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы*»\*. Ломоносов был прав: они бы действительно произошли, если бы удалась его планы. Народ мог бы выслать многих Ломоносовых, если бы изменился тот склад нашей гражданственности, который заставлял двадцатилетнего помора Ломоносова из любви к науке и просвещению прибегать ко лжи и обману. Раздвоение неизбежно для тех, кто прибегает к таким тяжелым жертвам.

Ломоносов не утратил через это своей крестьянской природы. Никогда не презирал он своего звания, народа, из которого вышел и которого всегда верно представлял как своим характером, так и складом своего ума, словом, всею своею непосредственною деятельностью. К несчастью, нельзя того же самого сказать про всю его деятельность сознательную. Собственно крестьянина-Ломоносова мы знаем только до двадцати лет, до прихода его в Москву. Затем мы видим его семинаристом, немецким студентом и, наконец, российским академиком, придворным пиитом, оратором и ученым, бритым, в напудренном парике, в манжетах, камзоле, башмаках с штиблетами. В латинско-немецком тоне воспеваает он императриц: Анну, Елисавету, Екатерину II, даже Петра III — прославляет и его величие и премудрость; Петра I просто-напросто величает русским богом, его преемниц — богинями. Для русского народа, среди которого он вырос до двадцати лет, его оды так же странны и чужды, как и его наряд. Но крестьянская натура Ломоносова всегда видна: и из-под длинного кафтана семинариста, и немецкого мундира, и французского камзола. Так и тяжелые, условные правила ложного классицизма не могли совершенно сковать живых, поэтических движений богатой, сильной души. Среди риторических, напыщенных строк у Ломоносова нередки, однако же, и подобные стихи:

Возмог ли ты хотя однажды  
Велеть ранее утру быть,

---

\* «Ворон. Беседа», 1861 г., стр. 235. Это письмо — от 17 апреля 1760 г.

И нивы в день томящей жажды  
Дождем прохладным напоить?  
Твоей ли хитростью взлетает  
Орел, на высоту паря,  
По ветру крила простирает  
И смотрит в реки и моря?

и множество других, им подобных.

Ломоносов — статский советник чрезвычайно любит свое звание, гордится своим рангом и всеми внешними знаками отличий, страшно дорожит всем декорумом Российской империи; за священный долг себе вменяет воспевать подвиги российского оружия, сочинять надписи в стихах для придворных иллюминаций и маскарадов, торжественные оды на всевозможные царские дни и праздники, хлопотать о сооружении памятника императрице Екатерине II через два года по вступлении ее на престол, в торжественных речах прославлять мудрость законодательства и администрации в Российской империи, даже хвалить академию наук за ее ревностное попечение о российском просвещении. Таков Ломоносов в парадном мундире. Уже далеко не тот он, так сказать, в своем виц-мундире, в заседаниях конференций и канцелярии академии наук — и уже совершенно иной у себя дома, в своем китайском халате, без парика — тогда ли, как он ходит у себя по саду и подчищает и подрезывает свои деревья, сам лечит свою больную дочку или сидит за книгами и бумагами, забывая с ними об обеде и только время от времени посылая свою бойкую племянницу на погреб за мартовским пивом, которое, по ее словам, он всегда жаловал прямо со льду, или тогда, как, бывало, остановится в Морской, перед его домом, парадная карета в шестерку, с гайдуками, и выйдет из нее И. И. Шувалов и, ласково поздоровавшись с его женою, дочкою и племянницею, прямо без доклада войдет в рабочий кабинет Михайлы Васильевича — а он в это время занят своими ретортами или какими-нибудь физическими опытами. В записках ли и письмах к своему меценату, в беседах своих с ним или своими приятелями, Рихманом и Брауном, Поповым, Красильниковым, с своими любимыми учениками, даже с беспутным, но даровитым академическим канцеляристом Барковым — словом, совершенно запросто, неофициально — Ломоносов является чисто русским человеком, до такой степени народным, что едва ли кто из всех наших позднейших деятелей сколько-нибудь приблизился к нему в этом отношении. Если бы Ломоносов имел своего Босвеля, то, конечно, такая книга была бы для нас драгоценнее множества его стихов, которые так высоко ценили современники, не умевшие уважать человека, их написавшего. Но вот раскрывается перед нами картина, можно сказать, единственная в истории русского общества: первый русский писатель и ученый, на которого любимцы обеих императриц, первые силы в государстве, И. И. Шу-

валов и Григорий Орлов смотрят с каким-то благоговением; этот самый статский советник, пиит и оратор угощает у себя в доме своих земляков, поморов, которые, ежегодно по два раза приезжая в Петербург по своим торговым делам, всегда завернут к своему чиновному и ученому земляку, привозят ему деревенские гостинцы, морошки, рыбы и, по его поручениям, разные камни, воду Северного океана и т. д. Дружеская, веселая, шумная пирушка продолжается иногда всю ночь:

И чиста совесть рвет притворств гнилу завесу\*.

Словом, Ломоносов — дома, в своих записках не для печати уже не тот, что в своей парадной, официальной жизни. Тут он уже не стесняется, вечно ворчит и негодует на то самое почти, что он воспевает в мундире, ибо он воспекает собственно не то, что есть, а то, что и как должно бы быть. Тут-то спадает *притворства* гнилая завеса: он ропщет и жалуется на непроизводительные траты огромных сумм, на бесполезные войны, на всюду господствующее воровство и грабеж, на жалкое состояние народной производительности, на невежество духовенства, на отвратительное состояние академии и под конец своей жизни все более свыкается с мыслью, что «нет благословения божия на то, чтобы науки распространились в России». Он умирает с полной уверенностью, что все его планы будут надолго забыты, и только еще утешается мыслью, что *дети отечества* об нем *вспомянут*, с благодарностью почтят его «терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к распространению наук в отечестве». За них, говаривал он: «И против отца своего родного восстать за грех не ставлю».

Я хотел слегка указать на ту двойственность, с которою нам представляется теперь вся деятельность Ломоносова. Она естественно вытекала из того раздвоения, в которое неизбежно впадал каждый русский человек, соприкасаясь с тогдашнею образованностью.

Наша русская община преимущественно чисто сохранилась на севере. Достойные глубокого уважения, ученые, даровитые немцы, Блазиус и академик К. М. Бер, откровенно выразили свое глубокое уважение к близко ими виденным вологодским и архангельским крестьянам, одинаково удивляются их довольству и зажиточному быту, смелости и независимости их характера, честности и строгости их нравов. Оба эти ученые-писателя единогласно почти признаются, что наши вологодцы и поморы имеют себе равных на материке Европы только разве в гордых, независимых сынах Швейцарии. Родина Ломоносова, двинская земля, в конце XVII и в начале XVIII века чище многих других областей России, куда уже почти всюду проник владельческий элемент, представляла собою микрокосм славянско-

---

\* Письмо о пользе стекла.

го мира, с исключительно ему свойственной общественной организацией. То был союз свободных общин, члены которого все равны между собою, все имеют право на пользование землею, не знают никаких преимуществ и привилегий, никаких искусственных перегородок, классов и сословий; все носят единственное высокопочетное название *крестьян*, т. е. христиан, православных, крещеных. Есть между ними и земледельцы, и промышленники, и торговцы. С своими сходками, обычаями, нравами, с своими оригинальными воззрениями они представляли тогда свой особый мир в государстве, все более и более устраивавшемся на иностранную ногу, с его официальной безгласностью, с вечным вмешательством его в общественную жизнь, в дела граждан для целей цивилизации. По счастью, оно оставляло в покое народ и его быт, глядя на крестьян, как на *непросвещенных невежд*, неспособных цивилизоваться, и, сильно тревожа и даже терзая его тело, оно не смело посягать на его душу, на его внутренний быт, семейную жизнь, и сам Петр I должен был отступить от крестьянства. Любопытны отношения этих общин к государству и к нам, образованным людям. Академик Бер не может достаточно выразить своего уважения к необыкновенной честности поморов во взаимных их отношениях между собою и в то же время не скрывает своего удивления, что эти же самые честные, благородные люди в сношениях своих с начальством и властями не считают за особый стыд прибегать ко лжи и обманам.

Имеем ли мы право строго осуждать наших честных, благородных поморов за их обманы и подозрительную недоверчивость к нам, образованным людям? Вспомним, что при этом они большею частью руководятся не гордым сознанием своего превосходства перед нами, а инстинктом простой, здоровой жизни, чуящей ложь и пустоту нашей, несмотря на ее внешний блеск. Замеченную нами двойственность в Ломоносове никак нельзя объяснять каким-нибудь сознательным расчетом, предварительными соображениями. Как одинокая личность, хотя и гениальная, он обладал, сравнительно с народом, слишком ничтожным запасом сил, чтобы мог больше его представить отпора иной, чуждой жизни. Притом же он узнал европейскую цивилизацию в самых чистых, высоких ее проявлениях, с ее истинной, общечеловеческой стороны, между тем как наш народ узнавал ее через нас, по большей части нелепо подражавших Европе. Тем не менее и Ломоносов, вместе с ее правдою, с ее наукою, принял и всю ложь и ветошь западной образованности, порожденные в ней в течение веков не столько вследствие каких-нибудь неблагоприятных внешних обстоятельств, сколько вследствие тесного, ограниченного понимания христианских начал как в католичестве, так и в протестантстве.

Эта ложь и гниль европейской образованности была отчасти откинута самую Европою в конце XVIII века рядом тех великих событий, до которых не суждено было дожить Ломоносову и против которых

с ожесточением восстал наш цивилизующий элемент в России, употребляя наши народные силы и богатства на защиту отживавших свой век римско-немецких порядков, враждебных и глубоко-противных православной России. Двойственность Ломоносова отнюдь не проистекала из двуличности и подлости характера, а была необходимым последствием того положения, в которое в XVIII веке встал русский народ в отношении к Западу. Как общественный организм, он был выше народов романских, германских и старой Византии, подобно тому, как древний германский мир, представляемый полудикарями Цезаря и Тацита, был выше образованного, блестящего Рима времен империи. Но в XVIII веке Запад вступал в новый, высший период своего развития. Он был украшен дивами искусства, чудесами науки и промышленности, а носитель высших, но неразвитых начал — славяно-русский мир был представляем крестьянскими общинами, по большей части переходившими, если не перешедшими, в рабство, курными избами, безграмотными мужиками. Просветительное начало западного мира в то время далеко не исчерпало своего содержания и, следовательно, еще не успело обличить своей односторонности и несостоятельности, как начала центрального. Для русских того времени соблазн был так легок, для Ломоносова еще, быть может, легче, чем для иных, потому что эти высокие начала простой, неразвитой русской жизни заключались, хотя и далеко не вполне, в недрах его собственного духа, так сказать, вдохновляли его и внушали ему все его непосредственные движения. Полное сознание, строгое логическое определение этих начал было для Ломоносова чисто невозможностью, ибо совершенная полнота самосознания человеку недоступна, а полное научное их уяснение могло быть только получено посредством сличения их с западными, несогласие которых с нашими не выступало тогда с такою резкою определенностью, как в настоящее время. Наконец, по самой природе своей Ломоносов не был склонен к критической философии, сосредоточивающей все свое внимание на духе человека. Его взгляд был всегда обращен на явления внешней природы; его стройный, зиждительный ум был постоянно занят открытием общих законов, придумыванием новых средств в облегчение новых открытий; его живая, открытая душа стремилась передавать знания, распространять их людям.

В тогдашней Московской славяно-греко-латинской академии греческое направление Лихудов уже было вытеснено латинским под влиянием новых учителей, малороссиян и белоруссов — все почти воспитанников киевской академии, где царила схоластика с средневековым Аристотелем. Западная Русь принимала науку из Польши, которая в конце XVI века, под влиянием иезуитов, все больше и больше проникалась тем грамотным невежеством, которое несравненно губительнее простой безграмотности. В двадцатых годах XVIII века, в первые русские училища, в московскую и киевскую академии,

не только еще не проникли Спиноза или Лейбниц, но даже и Декарт, которого хотя некоторые монахи и читали (например, Феофилакт Лопатинский), но совсем не понимали. С Декартом впервые ознакомился Ломоносов только у Вольфа. Пребывание его в академии было прежде всего полезно для него тем, что он хорошо выучился в ней по латыни, близко ознакомился с римскою литературою, хорошо освоился с священным писанием, с творениями св. отцов и имел случай прочесть старинные сборники, хронографы, летописи. В ней он также учился по-гречески; но степень его познаний в языке греческом неизвестна, ибо в православной России петербургского периода этот предмет вообще был в совершенном пренебрежении: в обеих академиях царил польская, иезуитская латынь, с иезуитскою же системою воспитания. За особенное счастье должно почитать, что судьба не дозволила Ломоносову пробыть в этих школах более пяти лет. Их мудрость доставалась дорого; годы учения распределялись в них таким образом: курс богословия продолжался четыре года, философии — два года, риторики — два года и синтаксиса — год. Время перевода из курс в курс зависело от успеха учеников, и немногие могли оканчивать курс по прошествии 12 или 13 лет. История академии считает в своих летописях такие безобразные явления, как, например, воспитанников: Чепелева, который с 1736 по 1750 год дошел только до философского курса, или Ушакова, который обучался наукам двадцать лет. Известное сочинение г. Смирнова, из которого мы заимствовали эти сведения, знакомит нас с некоторыми курсами, читанными в академии. Невольно овладевает вами ужас при мысли, сколько тут было заедено молодых дарований, сколько забито способностей, сколько потрачено даром здоровых, свежих сил. Из учителей Ломоносова известны два монаха: *Порфирий Крайский*, с 1737 года преподававший философию, а до того времени — синтаксис и риторику, и *Федор* или *Феофилакт Кветницкий*, читавший латинскую и российскую поэзию. До нас дошла пиитика последнего. Она составлена по образцу латинско-польских пиитик, содержит в себе много изречений из Горация «*De arte poetica*» и примеров на тропы и фигуры, на различные роды поэзии Горация, Вергилия, Персия, поляка Сарбевского, Стефана Яворского. Встречается также одно указание на Торквато Тассо, хорошо известного полякам. Между примерами попадает довольно и русских стихов, кажется, собственного сочинения Кветницкого\*. Вот, для образца, перевод из Тассо:

---

\* За сообщение этой пиитики приношу искреннюю мою благодарность Н. С. Тихонравову. Полное ее заглавие таково: «*Clavis Poetica Russiacaе juventuti januam vivos ad Parnassi fontes duplici methodo una ligatae, altera solutae orationis aperiens Augustissima imperate Anna non ferreo Yulcani malleo, sed urebella Theodori Kwietniscii, incude Mosquevii in Academia excusa. Annus in axe notarn Christi volvebat amandi 1732. Clara Novembris erat septima lux declma*».

Абие архистратиг Михаил во скоре,  
 Невидим иже бяше, зрится с мечем горе,  
 Печальнейшему от всех Готфреду ужасны,  
 Предста облаком светлым, аки день прекрасны.  
 Се благополучия приближися время,  
 Спасаящие сна от печална бремя.  
 Возри, рече, на небо, Готфреде, откуда  
 Узришь помощь велию грядущую ти сюду.  
 Бессмертных полки воев там числом мнози  
 Приготовлевают в поход свои нози.

Аз брэнную от очес твоих сложу ризу,  
 Просветятся воскоре сущу ти низу,  
 Естество ангелское узришь тако  
 Имеет собою в самой вещи яко.  
 И воистину облак зрения твой честно  
 Светлость ангелских зраков обымет нелестно.

Или вот другой пример, перевод с латинского:

Не полагай надежды ни в чести, ни в злате —  
 Ныне златом сияешь, утро лежишь в блате.  
 Не надейся на блато, утро прах бываешь.  
 Не надейся на злато, славен суще ныне,  
 Прах, пепел, земля будешь в утренной године, и т. д.

В конце пиитики есть небольшая глава: «De poesi slavonica»\*, в которой между прочим объясняется, что отличие славянской поэзии от латинской состоит в языке: одна — на латинском, а другая — на славянском, а потом — в размере: сила одной — в стонах, а другой — в слогах, т. е.: для поэзии славянской определяется размер силлабический. До нас дошли от того времени вирши Ломоносова, сложенные им по поводу какого-то проступка его, заслужившего ему наказание.

Услышали мухи,  
 Медовые духи,  
 Прилегавши, сели,  
 В радости запели.  
 Едва стали ясти,  
 Попали в напасти.  
 Увязли бо ноги,  
 Ах! плачут убоги,  
 Меду полизали,  
 А сами пропали.

\* Poesis slavonica eadem est ars quamcunque raateriam cum yero simile fictione ad delectationem et utilitatem audientium metricè tractandi prout et latina. Ex quo ipse satis capis, quod epigrammatae, elegiae, odae, scenae, eclogae, satyrae etc. non minus venuste, quam egregie etiam carmine slavonico scribi nossunt.

Иеромонах остался доволен этими стихами и надписал pulchre. В академической библиотеке нашел Ломоносов какие-то физико-математические книги — вероятно, весьма старинные, — которые его очень заняли. Рано пробужденный в нем интерес к естествознанию заставил его, по совету московских учителей, отправиться в Киев и поступить в тамошнюю академию; но ее схоластика ему сильно не понравилась, и он в том же, кажется 1735, году возвратился в Москву. В этом отношении благотворное влияние имело на него чтение поэта Лукреция, Плиния младшего, Григория Богослова и в особенности Василия Великого, которого живому, цельному чувству природы так сочувствовал А. Гумбольдт. С этой стороны Ломоносов превосходил многих современных ему европейских естествоиспытателей. Этим своим преимуществом он главнейше обязан, после своей родины, творениям Василия Великого, мало известным на Западе, даже и между богословами. Там — в его плаваниях по Белому морю и Северному океану — сложился в Ломоносове этот живой, врожденный поморам поэтический взгляд на природу, а изучение Василия Великого расширило и изоцирило этот взгляд.

В бытность свою в Москве Ломоносов не прерывал связей с своими земляками. Один куроостровец, Пятухин, ежегодно ездил в Москву и постоянно видался с Ломоносовым, помогал ему деньгами, всего задавал ему до семи рублей, которые получил обратно уже в Петербурге. Эти пять лет проведены были Ломоносовым-семинаристом в непрерывных лишениях, трудах и борьбе с самим собою, с собственными страстями и влечениями его пылкой, страстной натуры. Только благодаря горячей любви к науке и вере в свое призвание, 20–25 летний Ломоносов мог себя облекать в броню сурового стоицизма, а иначе бы он не устоял против разнообразных, представлявшихся ему искушений. В замечательной своей трагедии «Тамира и Селим» Ломоносов, кажется, сохранил нам идеальное изображение своей жизни в Москве:

Тебе все склонности и жизнь моя известна;  
Как был я в Индии, с Нарсимом и с тобой,  
Бывала ль красота очам моим прелестна?  
Бывал ли нарушен любовью мой покой?  
Всегда исполнен тем, что мудрые брамины  
С младенчества в моей оставили крови —  
Напасти презирать, без страху ждать кончины,  
Иметь недвижим дух и бегать от любви;  
Я больше как рабов имел себя во власти,  
Мой нрав был завсегда уму порабощен,  
Преодоленные имел под игом страсти,  
И мраку их не знал, наукой просвещен,  
Других волнения смотрел всегда со брегу.

Раз как-то, лет чрез двадцать после, в Москве, И. И. Шувалов выразил ему свое опасение, чтобы с обеспеченным состоянием он не охладел к наукам. В ответном на это письме Ломоносов так вспоминает свою жизнь в московской академии: «Не примините, ваше превосходительство, мне в самохвальство, что я в свое защипение представить смелость принимаю. Обучаясь в спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны: отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как за денежку хлеба и на денежку кваса; прочее — на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которых и в мою бытность там предлагали; с другой стороны — школьники, малые ребята кричат и перстами указывают: смотри-де, какой болван, лет в двадцать, пришел латине учиться»\*.

---

\* Замечательны в истории русского просвещения такие подвиги и страдания наших юношей и молодых людей. Лет за десять до Ломоносова то же самое испытывал наш известный, любознательный паломник В. Г. Барский, который, в 1724 году проживая в Венеции, чтобы не быть праздным, стал ходить в школу учиться греческому языку. Над ним смеялись школьники, называли его Соломоном: «множицею бо книжицы моя и писание школьное вметаху в огонь, и прочая негодная творяху; аз же иногда сваряхся, иногда же на Господа возвергая печаль мою, молящи, да той мя препитает и по печали даст радость». Лет через десять после Ломоносова в новгородской семинарии терпел такую же нужду и обиды от своих товарищей бедный мальчик, Тимофей Соколов, впоследствии святитель Тихон. «Бывало, — вспоминал он впоследствии, — когда получу казенный хлеб, то половину оставляю себе, а половину продам и куплю себе свечку, сяду с нею за печку и читаю себе книгу. Богатых отцов дети, товарищи мои, играют или найдут стопки лаптей моих, начнут ими махать и смеяться надо мною, говоря “величаем-тя”». Этот святитель занимает почетное место в истории русского просвещения, не только как лицо высоконравственное, но и как писатель чрезвычайно замечательный и доселе любимый грамотным нашим народом. Многие его проповеди, обличающие современные общественные пороки, гораздо выше многих лучших наших сатирических произведений XVIII века, авторы которых часто просто переводили с французского и вообще мало знали русскую жизнь и народный быт, всем не то — в проповедях св. Тихона. Нашей литературной критике истории петербургского периода предстоит еще полная переработка. Так, например, раскольничья литература часто представляет гораздо более силы и жизни, чем наш шляхетская. Сравните, например, часто крайне подлую и низкую шутку нашу — духовные стихи беспоповщинцев и духовборцев.

Так еще в Ломоносове-семинаристе образовался строгий, суровый взгляд на жизнь, как на ряд личных подвигов и самопожертвований. Впрочем, он умерялся в нем его живым пылким нравом, его доброю и страстною натурою. Вообще, в Ломоносове в высшей степени замечательно удивительное сочетание этого сурового и вместе светлого взгляда на жизнь, любви к веселью и радостям, к пиру жизни, с постоянною готовностью к тяжким лишениям, подвигам и борьбе. Это сочетание двух противоположных особенностей составляет отличительнейшую черту характера Ломоносова, которая превосходно выразилась в одном из искреннейших и лучших его стихотворений: «Разговор Ломоносова с Анакреоном».

Так однажды говорит он ему:  
 Анакреон! ты верно —  
 Великий философ,  
 Ты делом равномерно  
 Своих держался слов.

.....  
 Хоть в вечность ты глубоку  
 Не чаял больше быть,  
 Но славой после року  
 Ты мог до нас дожить.  
 Возьмите прочь Сенеку;  
 Он правила сложил  
 Не в силу человеку,  
 И кто по оным жил?

В другой раз, в ответ Анакреону, который призывает к утехам и забавам, проповедуя:

Что должен старичок  
 Тем больше веселиться,  
 Чем ближе видит рок —

Ломоносов говорит ему в ответ:

От зеркала сюда взгляни, Анакреон!  
 И слушай, что ворчит, нахмурившись, Катон.  
 Какую вижу я седую обезьяну?  
 Не злость ли адская, такой оставя шум,  
 От ревности на смех склонить мой хочет ум?  
 Однако, я за Рим, за вольность твердо стану,  
 Мечтаниями я такими не смущусь  
 И сим от кесаря кинжалом свобожусь.  
 Анакреон! ты был роскошен, весел, сладок;  
 Катон старался ввести в республику порядок.  
 Ты век в забавах жил и взял свое с собой;  
 Его угрюмством в Рим не возвращен покой;  
 Ты жизнь употреблял, как временну утеху;

Он жизни пренебрегал к республики успеху.  
Зерном твой отнял дух приятный виноград;  
Ножем он сам себе был смертный супостат.  
Беззлобна роскошь в том была тебе причина,  
Упряжка славная была ему судьбина.  
Несходства чудны вдруг и сходства понял я.  
Умнее кто из вас, другой будь в том судья.

*Беззлобная роскошь и славная упряжка* были существенными, основными движителями в жизни Ломоносова.

О пребывании его в Киеве не дошло до нас никаких известий. Верно только, что в тамошней академии он не нашел, чего искал; но зато, в бытность свою в Киеве, он имел случай основательно выучиться польскому языку, с которым, вероятно, впервые ознакомился еще в Москве. Вообще, это путешествие было в высшей степени полезно для Ломоносова в отношении филологическом и историческом, давши ему возможность произвести много живых наблюдений над русскою народностью и стариною, над малороссийским наречием и говорами великороссиян. В Киеве постоянно проживали в то время, как торговцы или как воспитанники академии, наши южные соплеменники и единоверцы, болгары, сербы. Через рассказы их он мог несколько ознакомиться с южными славянами. Впоследствии он принимал в их судьбе живое участие. Кажется, ему даже мелькала мысль об общем языке для всех славян, по крайности православных. Так, в статье «О пользе книг церковных» он говорит между прочим: «Народ российский, по великому пространству обитающий, невзирая на дальнее расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком, в городах и в селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например, в Германии, баварский крестьянин мало понимает мекленбургского, пли бранденбургский — швабского, хотя все того ж немецкого народа. Подтверждается вышеупомянутое наше преимущество живущими за Дунаем народами славянского поколения, которые греческого исповедания держатся. Ибо, хотя разделены от нас иноплеменными языками, однако, для употребления славянских книг церковных, говорят языком довольно вразумительным, который весьма много с нашим наречием сходнее, нежели польский, не взирая на безразрывную нашу с Польшею пограничность». Впрочем, мысль об общем литературном языке, если не для всех, то для разных славянских народов, не раз возникала в различных землях славянских. В XV–XVI веках чешский язык был распространен не только в Польше, но и в Литве, а писатель польский, Лука Гурницкий, горько жаловался на предпочтение, которое отдают поляки языку чешскому перед своим отеческим. В XVI и XVII веках с необыкновенною силою распространяется польский язык в Малой и Белой Руси и в Литве. Но с упадком западных славянских государств и с усилением политического мо-

гущества России, еще в XVII веке возникает мысль, что русский язык станет со временем общеславянским литературным языком. В северной Руси первый стал проповедывать эту мысль южный славянин, серб, католик Крижаничь, а в южной Руси проводили эту мысль сами малороссияне\*. Как бы то ни было, только если старая мысль, давнее чаяние многих славян об общем славянском литературном языке когда-либо осуществится, то, конечно, им будет только язык той литературы, которая справедливо считает своим отцом Ломоносова. Он вменял в обязанность России освободить южных славян и вообще народы православные от ига турецкого:

Там вдруг облек дракон ужасный  
 Места святы, места прекрасны,  
 И к облакам стоглав вознес!  
 Весь свет чудовища страшится.  
 Един лишь смело устремиться  
 Российский может Геркулес.  
 Един сто острых жал притупит,  
 Един на сто голов наступит,  
 Восставит вольность многих стран!

Кроме знакомства с сербами и болгарами, поездка Ломоносова в Киев и обратно была в высшей степени полезна для его гражданского воспитания. В то время в России была *биронщина*.

В 1758 году издано было в свет сочинение князя Щербатова «О повреждении нравов в России», в котором он между прочим говорит, что при Анне Иоанновне «хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастья, но народ был порядочно управляем, не был отягощен налогами; законы издавались ясны, а исполнялись в точности; страшились вельможи подать какую-либо причину к несчастью своему, а не быв ими защищаемы, страшились и судьи что неправое сделать, мздоимству коснуться» и т. д. На основании этих слов князя Щербатова появились уже у нас в печати мнения о Бироне, как о каком-то диктаторе-демократе и народном трибуне, давящем вельмож, благотворящем народу. Щербатов считал себя почему-то обиженным и обойденным и потому негодовал на современность. Глав-

---

\* См. «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого беседы на деяния святых апостол 1624». Читаем следующее обращение ко всем славянам: «К вам убо приходит божественный Хрисостом... приемлете е, о іафетово племя, россове и славяне и македонове, стяжите и болгарове, сербове и босняне, обლობызайте истрове, іллирикове и далматове, обряцете и молдаване, мултяне и унговлахове, воспримите и чехове, моравляне, гарватове и вся широковластнаа сарматіа» и т. д. Замечательно, что сербский писатель начала XV века, Константин Костеичский, говорил, что тонкость эллинская, или сирийская, или еврейская не могла быть выражена дебелим языком болгарским или высоким сербским, но только русским тончайшим языком.

ные деятели первого периода царствования Екатерины II были преимущественно люди елисаветинские. Щербатов их недолюбливал: его родственники при дворе Елисаветы не играли никакой роли, между тем как одна из его бабушек, княгиня Аграфена Александровна, была одною из любимых горничных Анны Иоанновны, следовательно — довольно важным лицом. Человек, очень трудолюбивый, но ограниченного ума и посредственных дарований, князь Щербатов был насквозь пропитан узкими сословными предрассудками. Так, например, он негодует на Анну Иоанновну не за дикую ее страсть к шутам и дуракам вообще, а за то собственно, что она пожаловала в них князя Волконского и князя Голицына (прибавим и графа Апраксина) за то, что «благороднейших родов люди в толь подлую должность были определены», именно за то обстоятельство, которое скорее могло бы смягчить тяжесть преступления, ибо по крайности могло сбивать спесь и гордость тогдашней дерзкой и наглой знати. Если доверять голосу Щербатова о биронщине, то никак нельзя не обращать внимания и на Болтина, его современника и его ровесника. Много ездивший по России, основательно изучивший русскую историю, старую и новую, Болтин обладал истинно блестящими дарованиями. Он не только стоит выше Щербатова или Радищева (столь несправедливо превознесенного), но даже в некоторых отношениях выше Фонвизина и Новикова. Он превосходил их всех строгостью и самостоятельностью мысли, живым знакомством с Россиею и более русским взглядом на вещи. Вообще, после Ломоносова, Болтин с Лепехиным, Поповским и Десницким принадлежат к числу самых замечательных голов в России XVIII века. Новиков впадал в мистицизм; Фонвизин и еще более Радищев часто являются простыми переводчиками и репетиторами. Болтин довольно подробно описал внутреннее состояние России при Анне Иоанновне. Приводим из него только некоторые места: «При вступлении на престол императрицы Анны, было государственных податей в недоимке несколько мильёонов. Бирон, примыслив сими деньгами без огласки воспользоваться, коварно императрице представлял что-бы ту недоимку собрать особно, не мешая с прочими государственными доходами. Последовало поведение учредить особые для сего правления, под именем секретного приказа и доимочной казенной, и первому дана великая власть. Посредством всевозможных побуждений, взыскано недоимки в первый год более половины да на платеж процентов. А как за взыскиванием недоимки, настоящих податей нашлись многие заплатить не в силах, то и сии, по прошествии года, причислены к прежней же недоимке, в ведомство того ж доимочного приказа. Итак, каждый год доходы в приказ сей прибавляются, а он, взыскивая, отсылал в секретную казну, где, кроме казначея, о числе денег никто не ведал, и как о приходе, так и о расходе объявлять под смертною казнью было запрещено. Большею частью

казны сея воспользовался Бирон, однакож так искусно, что ниже имени его во взятых не воспоминается, но все писаны в расход на особу ее императорского величества. Между тем, годовые подати, расположенные на армии, явились недостаточны: принужден был сенат — лошадей и провиант для армии, сверх настоящего оклада, на крестьян раскладывать и новую тягость на бремена их возлагать. Сею хитростью доставил себе Бирон многие миллионы рублей, а государство в конец разорил. Крестьян выгоняли на правез в рабочую пору, во время посева. Вследствие этого три года сряду во всей России был неурожай хлеба. Народ пришел в несостояние не только государственных податей платить, но и семью свою прокормить. Правительство, взирая на донесения от воевод о крайнем неимуществе народа, посылало строжайшие указы о неослабном взыскании недоимок, но не видя и затем успехов, разосланы были по городам нарочные гвардии офицеры, которым велено было держать воевод и товарищей их скованных до тех пор, пока взыскана будет вся недоимка. От воевод посланные, с командами солдат, офицеры для понуждения к платежу, бояся и сами быть истязанными, употребляли ужасные бесчеловечия с крестьянами. Все, что находили у них в домах, яко хлеб, скот и всякую рухлядь, продавали, лучших людей забирая под караул и каждый день расставляя разутыми ногами на снег, били по щиколоткам и по пятам палками и сие повторяли делать, пока выплатят всю недоимку. Помещиков и старост отвозили в город, где их содержали многие месяцы в тюрьме, из коих большая часть с голоду, а паче от тесноты померли. По деревням повсюду слышен был стук ударений палочных по ногам, крик сих мучимых, вопль и плач жен их и детей, голодом и жалостью томимых. В городах — бряцания кандалов, жалобные гласы колодников, просящих милостыню от проходящих, воздух наполняли. Из порубежных провинций несколько сот тысяч крестьян бежали с семьями в Польшу, Молдавию и Валахию». Прибавим, что, по свидетельству графа М. Головкина, родной его брат Иван в 30-х годах увел от башкирцев до двадцати тысяч русских беглых семей, а у бухарского хана в это время была целая гвардия из трех тысяч русских людей. Затем Болтин рассказывает об ужасах тайной канцелярии, о рассеянных повсюду шпионах. Все изданные и неизданные архивные документы вполне подтверждают справедливость показаний Болтина. Но часто царствования, разорительные для народа, как, например, Петра Великого, Людовика XIV, Екатерины II, бывають исполнены внешнего блеска, доставляют стране большие политические приобретения. При Анне Иоанновне мы вели несколько войн; но они ничего не принесли нам, кроме страшных потерь. При осаде Данцига мы потеряли более 8.000 человек. Турецкая война, стоившая нам до 100.000 человек, окончена была постыдным белградским миром. Щербатов совершенно прав, утверждая, что наше шляхетство нахо-

дилось при Бироне в страшном унижении; но надлежит прибавить, что тогда гнали только тех вельмож, которые, подобно Долгоруким, Голицыным и Волынскому, восставали против немецкого влияния. Из дел тайной канцелярии видно, что в нее собственно попадали только дворяне, бранившие Бирона, Миниха, Остермана, Левенвольда. Таких дворян ссылали в Охотск, Оренбург, Рочервик, в работы вечно, с вырезанием языка, ноздрей, а иногда просто с *подчищением* оных. Но таких примеров между дворянством было немного. Главными жертвами тайной канцелярии и ее распорядительного начальника — Ушакова, известного тогда в народе просто под именем *Андрея Ивановича*, были крестьяне и низшее белое духовенство; черное же, монашество, с ожесточением восставало против Бирона и немцев уже впоследствии, при Елисавете Петровне. Нет никакого сомнения, что немцы одолевали тогда не в силу собственного могущества, ибо они в России были так малочисленны, что и при Анне Иоанновне, несмотря на всю ее нежную привязанность к Бирону, немецкая стихия никогда бы не приобрела у нас такого огромного значения, если бы дворянство стояло единодушно с народом, а не угнетало его заодно с немцами. Кроме очень немногих исключений, оно высылало Бирону самых ревностных слуг... Князя, люди высокого рода, начальники армий, провинций, посланники — словом, цвет так называемой русской аристократии, соперничали друг с другом в своих заботах о здоровье его высокогерцогской светлости со всею его фамилиею, осведомлялись об его конюшнях, покупали и дарили ему лошадей, спешили почтительно уведомить, когда какая-нибудь герцогская лошадь захворает сапом, в письмах, т. е. мысленно, а может, и реально, целовали ему не только руки, но и ноги. Так, между прочим, отличался князь Б. Г. Юсупов. Народ, крестьянство, в тогдашних своих жалобах и столах никогда не отделял бояр господ от немцев... Один крестьянин в деревне, когда собирали подушные, сказал: «Давай подушные деньги — и конца им не будет!», а потом еще *повинился, что произнес слова от горести своей, что он за неплатеж подушных денег бит был на правез*. За это он бит кнутом и, с урезанием языка, сослан в Оренбург, в шахты, вечно. Часто, при определении наказания, тайная канцелярия руководилась высшими соображениями: если, например, человек годен к службе, то приговаривала гонять его плетью или шпицрутенами и записать в солдаты; ежели негоден, то, бив кнутом и вырезав ноздри, сослать в Оренбург вечно, в шахты, и т. д. В 1736 году уехал Ломоносов из России и возвратился в нее в июне 1741 года, уже по падении Бирона; следовательно, он уже не был очевидцем последних четырех лет его царствования. Тем не менее в пятилетний период своей московской жизни, в поездку свою в Киев и обратно Ломоносов имел возможность наглядеться разных ужасов биронщины, довольно наслышаться народных во-

плей, стонов и проклятий. В бытность его в Москве однажды сошлось в нее из окрестных деревень до тридцати тысяч крестьян голодных и разоренных, чтобы побираться милостынею. Из официальных же источников известно, что в это время по большой дороге от Москвы до Волочка скитались голодные крестьянские семьи *стадами*, по тогдашнему выражению. Голод в иных местах доходил до того, что сами матери кидали своих детей в воду. Бирон и Миних были люди чрезвычайно набожные, сухие, нетерпимые. Лютеране, они искренно ненавидели русскую церковь и с благочестием холодных изуверов при всяком удобном случае гнали православие, как идолопоклонство. Попов, особенно сельских, то и дело таскали в тайную, пытали, били батогами, кнутом, плетьюми, ссылали в Сибирь, в рудники, с вырезанием языка, ноздрей. Страшный гнет сблизжал и связывал тогдашнее наше духовенство с народом. Летописи тайной канцелярии сохранили нам примеры отчаянной дерзости, благородного гражданского мужества, оказанного в разных местах многими почтенными лицами из низшего духовенства. Московские монахи-учителя не восставали прямо, но старались однако в своих воспитанниках пробуждать дух оппозиции против ненавистного всей России Петербурга. Читением некоторых классиков и творениями св. отцов, особенно Иоанна Златоустого, питали они в юношах благородную ненависть к петербургским злодействам и ко всей этой общественной мерзости и поселяли в них, как умели, честные гражданские убеждения. Свободолюбивый помор, не зараженный сословными предрассудками, чистый великорусс, Ломоносов несравненно более всех своих учителей, монахов, всех почти западно-руссов, должен был возмущаться при виде всех гонений Бирона — этой немецкой наглости. По плану моего сочинения, обзор трудов Ломоносова должен идти под конец, но я не могу не обратить внимания читателя на его риторику\*, хотя написанную уже по возвращении его из-за границы. Важнейшие материалы или, собственно, многочисленные примеры ее были, если не собраны, по крайности известны Ломоносову до его отъезда, ибо в Германии ему уже некогда было читать классиков и творения св. отцов. Риторика знакомит нас с гражданским направлением Ломоносова, образовавшимся в нем в биронщину. Примеры очевидно приведены под ее влиянием. В них очень ясны намеки на современность, например: из Тертулиана — о преследовании христиан, из Демосфена и Цицерона — о вольности, о деспотизме Филиппа, о влиянии иностранцев. Например: «Филипп — наш неприятель: он у нас все отнимает; он уже не малое время против нас сурово поступает. Все

---

\* Из протоколов конференции видно, что 24 февраля 1744 г. Миллер взял на себя рецензии риторики Ломоносова, а в заседании 16 марта Ломоносову был сообщен отзыв академиков об ней.

то нам противно, на что мы прежде надеялись. Мы впредь ни на кого, как только на самих себя уповать должны». Или из цicerоновой речи за Помпея: «Разве вы можете предпочесть незнаемых знаемым, неправедных праводушным, чужестранных домашним, наемных даровым, нечестивых благоговейным, неприятелей сего государства и его имени — добрым и верным сообщникам и гражданам». Замечателен поступок Ломоносова: второе издание своей риторики, 1759 год, он посвятил великому князю Петру Феодоровичу, об исключительном немецком направлении которого знал тогда весь Петербург; а Ломоносов через И. И. Шувалова всегда знал очень хорошо, что делается при дворе императрицы и на половине великого князя, о котором он мог слышать разные анекдоты от своего товарища, бездарного немца, профессора аллегории, Штелина, бывшего учителем наследника. В посвящении великому князю Ломоносов говорит, что русский язык по своему изобилию, красоте и силе *«ни единому европейскому языку не уступает, что благополучны возрастающие в России науки, к которым сам будущий их расширитель, подражая великому оных основателю, собственным своим примером поощряет сынов российских»*. Нам уже, слава Богу, такая ложная форма для выражения наших убеждений не нужна; но Ломоносов жил в такое время, когда не в одной только России писатель, чтобы сказать смелую правду, должен был облекать ее в льстивые выражения, словом, прибегать к языку рабов. Но мы должны помнить, что если бы Ломоносов не отрекся от крестьянства, не солгал, не обманул московского архиерея, то из летописей петербургского периода был бы навсегда выключен Ломоносов и все, что им сделано для русской науки и народного просвещения. Пристрастие наследника к его голштинцам и его нелюбовь к русским должны были сильно озабочивать Ломоносова. Известно, каким глубоким уважением, каким благоговением проникнут был к Ломоносову добрый, мелкий характером И. И. Шувалов, которого Вольтер, при Екатерине II, очень верно назвал *вице-императором всея России*. Нельзя положительно доказать, но нельзя и не подозревать весьма сильного влияния Ломоносова на один проект Шувалова, о котором Екатерина II говорит в одной собственноручной записке своей: «Последняя мысль п (окойной) И (мпер.) Е (лисаветы) П (етровны) о наследстве точно сказать не можно, ибо твердых не было. То не сумнительно, что она не любила П (етра) III и что она его почитала за неспособного к правлению, что она знала, что он русских не любил, что она с трепетом смотрела на смертной час, и на то что после ее происходить может, но как она во всем имела решимости весьма медлительное особливо в последние годы ее жизни, то догадываются можно что и в пункте наследства мысли более колебались, нежели что не будь определительное было в ее мысли. Фаворит же И (ван) И (ванович) Шу (валов), быв окружен великим чис-

лом молодых людей, отчасти не любя же от сердце, а еще более от лехкамыслие ему свойственное, быв убежден воплем (всех зачеркнуто и написано сверху: (множеством людей, кои не любили и опасались Петра III\*, за несколько время до кончины И. Е. П. мыслил и клал на мере (sic) переменить наследство, в чем адресовался к Н (иките) И (ванов.) П (анину) спрася, что он о том думает и как бы то делать, говоря, что мысли иные клонятся, отказав и высылая из России в. к. с супругою сделать правления именем царевича, которому было тогда седьмой год, что другие хотят лишь высылать отца и оставить мать с сыном и что все в том единодушно думают, что в. к. Н. Ф. не способен и что кроме бедства покаяряся ему России не имеет ожидать. На сие Н. И. П. отвечивал, что все сии проекты суть способы (зачеркнуто: дабы) к междуусобной погибели, что в одном критическом того переменить без мятежа и бедствених следства не можно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено (зачеркнуто: *самодерж*). Н. И. о сем мне тотчас дал знать, сказав мне притом, что больной Имп. естлиб представили, чтоб мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может. Но к сему благодаря Богу фавориты не приступили, но оборотя все мысли свои в собственной их безопасности стали дворовыми вымыслими и происками старатся входить в милости Петра III в коем отчасти и предупели\*\*».

\* Спрашивается: неужели И. И. Шувалов более слушался молодых людей, нежели Ломоносова, и неужели Ломоносов не был из числа этого множества людей, не любивших и опасавшихся Петра III?

\*\* Вот продолжение и заключение этой интересной записки: «А он о сей ему грозящая тучи и никогда не сведал, ибо он не молчелив был и конечно те кои бы захотели его остерегать в том или в другом из верности к нему были бы жертвою его нескромности, кая наипаче тогда опасна была, когда он иза стала вставал по пословице русской: у П. Н. Я. что у Т. Н. у.» — Екатерина II не могла не подозревать Ломоносова в этих замыслах И. И. Шувалова. Ее визит Ломоносову ничего не доказывает; она всегда, тем более в начале царствования, заискивала расположения, будучи убеждена по опыту, что ласками и подарками можно подкупить в свою пользу каждого. В первые годы она не презирала самыми ничтожными людьми, а Ломоносов был особою силою в обществе. Притом же ее фаворит, граф Орлов, был от него без ума и, по словам Шлецера, конечно преувеличенным, считал его каким-то полубогом. Но вообще Екатерина II не любила Ломоносова и подозревала его. Как-то даже в 1763 г. она уже подписала бумагу об увольнении его от академии с чином статского советника. Верно потом заступился за него граф Орлов. Замечательно также, что у великого князя Павла Петровича были некоторые преподаватели из академиков; Сумароков часто с ним обеживал, но Ломоносов никогда не был приглашаем ко двору великого князя. Заслуживают внимания и следующие два обстоятельства: император Павел освободил потомков Ломоносова от рекрутского набора указом к архангельскому губернатору Ахвердову, 22 августа 1798 г., а тотчас по смерти Ломоносова с высочайшего соизволения запечатаны его бумаги — печатью гр. Орлова. Не надеялась ли императрица найти в них каких-нибудь подроб-

Пример из риторики Ломоносова относительно предпочтения иностранцев своим природным приведен им вовсе неслучайно, ибо этот предмет его всегда занимал. Так, в его трагедии «Демофонт», написанной для придворных представлений, троянка Илиона говорит у него в одном месте:

В какой вы пагубе нас, боги, погрузили!  
Мы равну с греками имеем плоть и кровь,  
И ваша быть должна ко всем равна любовь.  
Но грекам вы — отцы, троянам вы — тираны,  
Они вознесены, а мы лежим попраны.

В своей риторике Ломоносов приводит довольно много примеров и своих собственных, не только стихотворения, но и отдельные мысли, которые знакомят нас с задушевнейшими убеждениями Ломоносова, без сомнения, окрепшими в нем еще до поездки его за границу: «Люблю правду всем сердцем, как всегда любил и любить до смерти буду. — Кто боязливо просит, тот учит отказывать. — Те не так боятся, которым страх ближе. — Кто породю, тот чужим хвастает». В трагедии его Селим говорит Мамаю:

Кто родом хвалится, тот хвастает чужим.

Замечательно в этом отношении одно место из поэмы «Петр Великий». Начиная прославлять Петра, Ломоносов вдруг останавливается при мысли, что ему придется говорить о злодеях Петра и тем огорчить их невинных потомков. Но тут ему говорят музы, что эта мысль не должна его смущать, что потомки, не подражающие *в зле ни сроднику, ни деду*, заслуживают не порицания, а похвалы.

А вы, что хвалитесь заслугами отцев,  
Отнюдь отеческих достоинств не имев,  
Не мните о себе, когда их похваляю:  
Не вас, заслуги их по правде прославляю.  
Ни злости не страшусь, не требую добра,  
Не ради вас пою, для правды, для Петра!

#### 4

Не внешнею государственною силою, не политическим могуществом, а упорным, энергическим трудом отдельных личностей, индивидуальных и общественных сил, высоким развитием образованности, великими заслугами в мире искусства и науки немецкая народность завоевала себе в России временное преобладание и господство, огромное значение и влияние. Но мы видим в то же время,

---

ностей касательно плана И. И. Шувалова? Из одного ли уважения к трудам Ломоносова дал этот указ Павел? Из-за чего простил он Ломоносову его резкие выражения в 18-й оде?

что немецкий элемент в России постепенно, так сказать, распускается в струях русской народности, свою прежнюю господствующую роль в России сменяет на служебную, свое владычество над русской народностью на медленное, но заметное подчинение ей. Такое невиданное доселе явление в истории тысячелетних отношений славянского мира к немецкому никак не может быть объясняемо оскудением дарований и внутренних сил Германии, ибо оно происходило в тот блестящий период ее внутреннего развития, в который она особенно проявила все изумительное богатство и разнообразие своих дарований, свое великое, всемирно-историческое значение. Таким образом, причины постепенного ослабления немецкого влияния в России заключаются не в слабости немецкой народности, а в силах и крепости русской. Какие бы теперь ни напрягала усилия немецкая стихия в России, но сохранить у нас свое прежнее значение она уже не в состоянии. Трудом, знанием, наукою пробилла она себе путь в Россию — ими же она поддерживает и свое нынешнее влияние. Самый величественный и колоссальный памятник немецкого влияния в России — бесспорно, Петербургская Академия наук. С каждым новым шагом русской народности на пути самостоятельного развития, с каждым новым успехом русской литературы и науки все подкапываются вместе с тем некогда законные и разумные основания для вызова ученых немцев на открывающиеся вакансии в Петербургской Академии наук, для издания ее трудов на языке немецком. Так русская жизнь постоянно вырабатывает новые силы, вытесняющие и элемент, и формы немецкие, принятые Россией добровольно, вследствие ее прежнего ничтожного умственного развития. Для поддержания своего влияния в России немецкая стихия часто была принуждена прибегать к искусственным и насильственным мерам против самостоятельного развития русской народности. Для того она нередко вступала в союз с недостатками и пороками русской жизни. Петербургская Академия наук своею поучительною историею раскрывает нам не одни светлые, но и темные стороны русской и немецкой народности, их общественные слабости и недостатки.

Проект Петра Великого об учреждении академии и особенно приведение его в исполнение были внушены потребностями России и Германии.

Задолго до Петра Россия явствовала потребностью в европейском образовании, искала сближения с западом, но часто встречала противодействие в Германии. Так, в 1539 году дерптский епископ, узнав, что в Дерпте проживает какой-то немец, умеющий лить пушки и стрелять из них и собирающийся ехать в Москву, велел его сыскать и сослал его неведомо куда. Император Карл V представлял на рассмотрение сейма немецкого вопрос о том: пропускать ли в Россию набранных в Германии по поручению царя московского саксонцем Шлиттом (лужичанином? из Гослара) разных сведущих людей,

для обучения русских? Сейм разрешил их пропустить; но любекский сенат посадил Шлитта в темницу, и он воротился в Россию почти через десять лет спустя. Борис Годунов помышлял об образовании в Москве университета. При Федоре Алексеевиче заведена была в Москве славяно-греко-латинская академия, отчасти по образцу иностранных университетов. В 1682 году, в аптекарском приказе предлагаемы были меры, «каким бы способом многие науки и ремесла, которых ныне из иных чужих государств всегда здесь требуют и дорогою ценою купят, или таких людей на тяжких и великих кормех призывают, на Москве завелись». Мысль об учреждении всеучилища занимала Петра I еще в 1698 году. Так, в разговоре своем с патриархом Адрианом царь жаловался на недостаток училищ, из которых бы выходили не только добрые проповедники слова божия мордве, черемисам, татарам, но и в гражданскую, и в воинскую службу «и знатоки строения, *докторского и врачевского искусства*». «Еще же многие желают, — прибавил он, — детей своих учить свободным наукам, и отдают их в ученье иноземцам; другие же и в домах своих держат учителей иноземцев же, которые славянского нашего языка не разумеют, к тому же и иноверцы, и при учении знакомят детей с своими ересями, отчего происходят детям нашим вред, церкви замешательство, а речи нашей от неискуства повреждение». Россия нуждалась в ученых, сведущих людях по всем частям; ей нужны были школы и университет, в которых бы на первое время преподавали иностранцы. Россия в них нуждалась, как в недостающих ей капиталах знания, как в средствах и орудиях для собственных своих целей и задач, русских, славянских, далеко не всегда согласных с немецкими.

С 1699 года начинаются прямые сношения гениального русского государя с гениальным мыслителем Германии Лейбницем, который интересовался Россией еще с 1696 года. Он писал царю о необходимости открыть училища в главнейших городах России, в Москве, Киеве, Астрахани, Петербурге. Старавшийся об основании повсюду библиотек, музеев, академий, Лейбниц, без сомнения, при свиданиях своих с Петром Великим убеждал его основать академии. Мы знаем тогдашние потребности России, особенно относительно Германии, к которой по преимуществу обращалась тогда Россия за сведущими специалистами. В чем же тогда состояли потребности Германии по отношению к России? Тогда Германия нуждалась в том же, в чем и теперь нуждается — в единстве и политическом могуществе. Великий ум Лейбница метко понимал все вредные последствия ее разорванности и отсутствия к ней внешнего политического средоточия. Всегда и вполне ли сознательно, только Лейбниц стремился доставить Германии то, чего желают ей теперь и нынешние пламенные патриоты немецкие, т. е. — политическое преобладание на материке, словом — воссоздать германскую империю, повелевающую романским юго-западом и славянским востоком.

Ein einig deutsches grosses Reich,  
Ein Volk so stark als recht an Zucht,  
Sein Wort voll Mark, sein Schwert voll Wucht.

Как теперь, так и тогда главным тому препятствием были Франция и Россия. Еще при Петре Великом боялась Германия сочувствия к нам народов славянских, и не только православных, например — сербов, черногорцев, но и западных, например — чехов, в то время еще не столь онемеченных, как в конце XVIII столетия. Так, в бытность царевича Алексея Петровича в Вене, в государственном совете было высказано опасение, что если царь двинется с войском на Австрию, то чехи восстанут и отложатся от нее. Понимая лучше многих государственных людей современные потребности и отношения Германии, Лейбниц представил Людовику XIV план завоевания Египта, с целью отвлечь Францию от дел германских. В 1669 году, перед выбором нового короля в Польше, он издал анонимную брошюру, в которой убеждал поляков выбрать себе в короли государя немецкого, а отнюдь не русского, всячески вооружая их против России, указывая на грозящие Европе опасности от ее усиления. Впоследствии он стал советовать известному немецкому педагогу Франке заводить в России протестантские миссионерские школы, а Петру Великому основать в России училища, академии наук и устремить свою политическую деятельность на азиатский восток, с тою же целью, с которой указывал Людовику XIV на Египет. Эти замыслы Лейбница, бесспорно величавые, были в то же время чисто народные. Задача Германии относительно России была та же, что и относительно западных славян: селиться и колонизоваться в ней, вносить в нее свою образованность, подчинять ее своему просветительному началу. С такими намерениями явились немцы в Россию и, полные чувства собственного превосходства, не могли согласиться быть орудиями народа, ими невысоко ценимого. Напротив, они желали в России деятельности самостоятельной, искали голоса и влияния в стране, на их глаза еще варварской. Русские призывали и выписывали к себе разных немцев для того, чтоб со временем перестать в них нуждаться, скорее избавиться от больших издержек, исходивших на их содержание. Немцы же, приезжая в Россию, желали или поскорее обогатиться и воротиться домой, или, оставшись в России, упрочить в ней свою силу и значение, передать их в наследство своим детям. Естественное чувство самосохранения и привязанности к своей народности заставляло их всячески искать случаев подкреплять себя свежими силами из-за границы. Итак, относительно Петербургской Академии потребности русские были нетождественны с потребностями немецкими, а часто совершенно им противоположны. Борьба явилась неизбежною.

В академическом регламенте Петра I русским потребностям предоставлялось широкое удовлетворение. Так, по его первоначальной

мысли академия должна была состоять: 1) из собственной академии; 2) университета, профессорами которого были бы академики, и 3) гимназии, учителями которой были бы студенты или адъюнкты академиков. Вообще, превосходно понимая выгоды взаимного общения народов славянских, Петр сам предписал, чтоб адъюнктов брать преимущественно из славян, «дабы могли удобнее русских учить». Кроме чтения лекций, академики обязывались готовить извлечения из лучших новейших ученых сочинений, составить «систему или курс в науке своей в пользу учащихся молодых людей». При академии положены были переводчики из русских, которые обязаны были переводить эти курсы и извлечения.

Но в том же регламенте были пункты, которые удовлетворяли и немецким потребностям. Россия собственно нуждалась в университете и в гимназиях, а Петр I сверх того заводил и академию, хотя в его же проекте сказано, что «здание к возвращению наук и художеств» должно быть учинено в России не по чужому образцу, но надлежит смотреть на состояние здешнего государства. Если б академия была открыта еще при жизни Петра Великого, то, без сомнения, он бы ей дал надлежащее направление на пользу юной русской образованности. Но, к несчастью, проект его был приводим в исполнение уже по смерти его двумя немцами, не принимавшими к сердцу и во внимание русских потребностей, именно — Блументростом и Шумахером. В своей автобиографической записке Ломоносов между прочим замечает: «Блументрост был с Шумахером одного духа, что ясно доказать можно его поступками при первом основании академии. И Ломоносов, будучи участником при учреждении московского университета, довольно приметил в нем нелюбви к российским ученым, когда Блументрост назначен куратором и приехал из Москвы в Санкт-Петербург, ибо он не хотел, чтоб Ломоносов был больше в советах о университете, который и первую причину подал к основанию помянутого корпуса». Шумахер с Таубертом были главными противниками Ломоносова. Их следует таким образом назвать истинными виновниками нынешнего состояния академии, ибо без их противодействия планы Ломоносова могли бы быть приведены в исполнение, т. е., по всей вероятности, мы имели бы теперь *российскую академию, из сынов российских состоящую, которая бы не токмо сама себя учеными людьми могла довольствоваться, но и размножать оных и распространять по всему государству.* Для характеристики Петербургской Академии наук чрезвычайно любопытна наследственность некоторых в ней мест или званий. В самом деле, с 1726 по 1855 год, с небольшим перерывом трех лет, следовательно в течение 126 лет, управлением академии главнейше располагали собственно только две немецкие фамилии. Шумахер академическую канцелярию со всеми ее доходами дал в приданое за дочь зятю своему Тауберту. Они властвовали в академии

с 1726 по 1766 год. Затем огромное влияние имели на дела академии непреременные секретари ее: с 1769 по 1855 год это звание переходило, как бы приданое и наследство, от И. А. Эйлера, сына знаменитого математика, к его зятю, *Николаю Фусу*, а от Н. Фуса к сыну его, *Павлу Фусу*, бывшему, можно сказать, правою рукою президента академии, графа С. С. Уварова.

Иоанн Даниил Шумахер родился в 1690 году в Эльзасе, в 1711 году окончил курс в страсбургском университете и вскоре затем поступил в секретари к Лефорту, нашему посланнику в Париже, который взял его с собою в Россию в конце 1713 года. Лейб-медик Петра Великого и президент медицинской коллегии, Арескин, определил его в октябре 1714 года хранителем царской библиотеки и кунсткамеры и секретарем медицинской коллегии по иностранной экспедиции. По смерти Арескина (1719), Шумахер, кажется, больше для утверждения себя в России подал было в отставку; но назначенный на место Арескина Л. Блументрост упрощил остаться ловкого, расторопного Шумахера, владевшего сверх того секретом для анатомических аппаратов, купленного Петром Великим у доктора Рюйма вместе с его анатомическим кабинетом. Шумахер, однако, не иначе согласился остаться в русской службе, как съездив предварительно в отпуск за границу на шесть месяцев. Царь дал ему поручение отвести в парижскую академию его благодарственное письмо и новую карту Каспийского моря и ознакомиться с устройством парижских библиотек и кунсткамер. При грозном, энергическом, трудолюбивом царе, во все входившем, не работать было нельзя. Он брал к себе на службу много немцев, но никогда не давал им первостатейных должностей. Хитрый, пронырливый Шумахер занимал в то время неважное место. Усердием и низкопоклонничеством пробивал он себе дорогу. Конечно, для устройства своей карьеры женился он на дочери Фельтена, любимого повара Петра I и Екатерины I. При открытии академии назначенный ее президентом, Блументрост определил Шумахера библиотекарем академии и поручил ему заведывание всех денежных ее сумм. Шумахер мало-помалу стал главным хозяином и распорядителем в академии, устроил при ней особую канцелярию, стал деспотически обращаться с профессорами, притеснял тех, кто ему противоречил. В канцелярию он взял к себе в помощники выпущенного из Германии студента Миллера, впоследствии известного историографа\*. Этот молодой человек ходил к профессорам, обносил их друг перед другом, ссорил их между собою и все потом передавал Шумахеру, который выставлял их высшему

---

\* Миллер отъехал в Россию в 1725 г. Любопытно очень наставление, данное ему его отцом при отъезде. Оно писано по-латыни, в стихах. (См. *Bosching. Beitr. zu d. Lebensgesch. merkw. Pers. III 5. 8. 9*). Бюшинг замечает при этом: *Dass sein Vater von Russland eine schlechte Meinung gehabt hat, muss man ihm zu gute halten, denn sie war zu seiner Zeit ganz allgemein.*

начальству, как людей беспокойных, передавал все их ссоры, как только они подавали на него жалобы, протестуя против его самовластных поступков. Не терпя его происков и деспотизма, никогда не получая в срок жалованья, первые лучшие академики решились наконец оставить академию и Россию. Ломоносов, которого позднейшие немцы обвиняли в какой-то фанатической вражде к немцам, так говорит об этих академиках: «Не можно без досады и сожаления представить самых первых профессоров: Германна, Бернуллиево и других (Бекенштейна, Бильфингера), во всей Европе славных, кои только великим именем петровым подвиглись выехать в Россию для просвещения его народа, но Шумахером вытеснены, отъехали, утирая слезы». Перед отъездом их Шумахер представил на их вакансии пять молодых адъюнктов: Л. Эйлера, Гмелина, Вейтбрехта, Крафта и своего фаворита, Миллера. Профессора признали всех их достойными, кроме Миллера, которого они называли *flagellum-professorum*\*. Президент уже сам от себя назначил Миллера профессором. Теперь Шумахер уже почти не встречал протестов со стороны академиков. Из новых профессоров все почти были люди ему обязанные; из старых оставался только француз Делиль, который, впрочем без успеха, продолжал бороться с Шумахером. Впрочем, и Миллер, сделавшись профессором, перестал ему подслуживаться и начал действовать против него, заодно с Делилем. В первые пятнадцать лет сменилось в академии четыре президента: Блументрост, Корф, Кейзерлинг и Бреверн<sup>1</sup>. Все они находились в руках Шумахера. Каждого из них он успел чем-нибудь обязать: Блументрост в свое восьмилетнее президентство перебрал из академии 5061 р. 76 коп.; лучший из президентов, помышлявший об учении молодых русских людей, Корф, в течение шести лет забрал себе книг из книжной академической лавки на 4339 р. 40 коп.\*\* У Бреверна купил Шумахер дом для академии. Кроме того, при ней было тогда много разных мастерских, художественных и ремесленных палат. Они позволяли Шумахеру экономическим для него способом делать разные услуги и угрож-

---

\* Сохранилось черновое письмо Ломоносова к Эйлеру 1763 года, где он говорит между прочим: *Sie wusten genug... dass Müller ein Ignorant und von den allerersten Professoren flagellum professorum genannt, ein lebendiger Macchiavel u. stetiger Stöhrer der Academischen Ruhe ist er immer gewesen.* Положим, Ломоносов был несправедлив к Миллеру; но если бы не называли его так сами профессора, то Ломоносов не стал бы так положительно говорить об этом. До нас дошли оправдания Шумахера 1746 года; в одном из них он упоминает о Миллере: «Президент приказал гг. профессорам освидетельствовать помянутых адъюнктов, достойны ли они быть профессорами? Они признали всех за достойных, кроме г. Миллера. Но невзирая на то, что они его не удостоили, президент определил его профессором, видя, что они в том поступали по пристрастии, о чем явно в протоколах академической канцелярии и конференции».

\*\* Академия в то время вела в России торговлю иностранными книгами.

дения тогдашним знатым господам. Он правил академиею самовластно, сменял одних, определял других, родственников или приятелей. В биронщину Шумахеру было особенно хорошо; впрочем, увидим, что ему было недурно и при Разумовских. Кроме Делиля, академики все были немцы. В то время общественное состояние Германии было жалкое. Сами немецкие историки говорят, что в первой половине XVIII века немцы просто представляли из себя *орду рабов*. Правительства продавали своих подданных, как невольников, в военную службу в Америку. Сословия или чины не имели никакого политического значения; крестьянство было в полном рабстве; везде господствовало самое скверное и наглое чиновничество. Каждый из маленьких тогдашних государиков, которых было тогда гораздо больше, нежели теперь, лет из кожи, тянул все с своих подданных из одного лишь желанья походить на Людовика XIV, обзавестись своим Версалем со всеми его потехами. «Умственная грубость и тупость» замечает один немецкий писатель «явились вместо прежнего движения и образования, возбужденных реформациею; вместо благодарного мужества — забитость, боязливость и трусость; вместо веры в себя и надежды на свои собственные силы — какая-то восточная, страдательная готовность подчиняться каждому, кто захочет приказывать». Понятно таким образом, отчего немцы являлись в Россию такими деспотами: как все люди, воспитанные в рабстве, они были склонны к наглому деспотизму, особенно в такой чужой стране, которая, отчасти из потребности в их занятиях, отчасти вследствие особых исторических обстоятельств, создала себе из пришлых иностранцев, и преимущественно немцев, какое-то особенное, привилегированное сословие. К этому надо присовокупить вековые цеховые склонности немцев, их пристрастие к крепко замкнутым кружкам, их старинную, так сказать, стихийную вражду к славянам, сходную разве с ненавистью плантаторов к неграм. До конца XVIII века в некоторых корпорациях восточной Германии от каждого поступавшего в них требовалось клятвенное удостоверение в том, что он *не происходит от славянских родителей, что в его жилах не течет славянская кровь*. Некоторые иностранцы беспристрастно сознавались, что из множества их, служивших в России и делавших в ней карьеру, бывали люди самые негодные\*. Нет ничего страннее уверений некоторых современных немецких писателей о том, будто бы большая часть немцев приезжали в Россию с какими-то необыкновенно высокими, бескорыстными

---

\* Манштейн здесь говорит преимущественно об офицерах; но его слова, конечно, применимы столько же к гражданской и ученой службе, сколько и к военной; *il s'y est trouvé d'excellents officiers, mais il y est aussi venu tout ce qu'il y a de plus abject dans le reste de l'Europe. Ces aventuriers qui ne savaient où donner de la tête, y accouraient en foule, et ils ont quelquefois mieux fait leur chemin que les meilleurs sujets.*

целями. Шлёцер сохранил в своей автобиографии некоторые очень любопытные подробности о немцах в России. «Отъезды и побегии из Германии в Россию, особливо между учеными, в то время (1760 г.) страшно усилились. *Глупцы мечтали, что нигде, как там, нельзя так скоро составить себе фортуны. У многих торчал в голове пример выехавшего из Иены студента теологии, Остермана, который был потом государственным канцлером.* Все по крайности хотели пристроиться, но сильная конкуренция им препятствовала. Многие ехали без всяких рекомендаций и аттестатов, даже с последним червонцем в кармане. Тут (собственно в Петербурге), при общей дороговизне, приходилось иногда жить и выжидать целые месяцы. В крайней нужде своей они обыкновенно обращались к известному со стороны своим великодушием земляку своему, Миллеру. Он принимал их к себе в дом, давал им свой стол и, чтобы лучше узнать их, поручал им уроки, переписку — все в надежде найти наконец человека, которого бы он мог привлечь к своим ученым работам\*. Коль скоро они не подходили к нему, он давал им учительские места, или же они сами между тем узнавали почву, на которой хлеб рос, *das Terrain, wo Brod wuchs.* Часто бывало, что они пользовались даровым помещением целую четверть года. Без необыкновенной доброты Миллера многим бы пришлось впасть в отчаяние». Впрочем, и сам Шлёцер, едучи в Россию, мечтал о фортуне. В автобиографии своей он рассказывает, что согласился на предложение Миллера приехать в Россию именно в надежде совершить оттуда путешествие на восток. Но из современных писем видно, что и другие мечты ласкали его, когда он ехал в Россию. 19 августа 1761 года, в день своего отъезда из Геттингена, он писал ректору Тило в Нордлинген: «О России я слышу так много интересного, что любопытство мое узнать это государство все более возрастает. Тем не менее я думаю, что через год около этого времени я буду уже на обратном пути в Германию». 3 октября, еще в дороге, Шлёцер писал Гесснеру: «Я только что узнал, что в Петербурге открылись два доходных места. Сюда недавно приехали секретарь и библиотекарь графа Разумовского. Мне может быть удача (*ich mochte doch wohl hin*). Первый перед отъездом своим из России перевел сюда двадцать тысяч рублей. Потрудитесь, пожалуйста, справиться о верном банкире в Любеке, на которого бы я мог через год перевести шесть тысяч рублей»\*\*. Между тогдашними

---

\* Миллер уже даже по контракту своему был обязан образовать себе учеников из русских, но у него их никогда не было.

\*\* «Belieben Sie sich nach einem sichern Banquieren in Lübeck zu erkundigen, dem ich übers Jahr die sechstausend Rubel remittiren kann, die ich mit der Frau Majesterin Ostermaier verabredet habe». Смотри биографию Шлёцера, написанную его сыном, который при этом замечает: «Dies gründete sich warscheinlich auf einem Scherz weil man sich Russland damals, und Theil auch noch jetzt, wie ein Zweiter Eldorado in Deutschland vorstellte».

членами Петербургской Академии были ученые весьма замечательные, но России они совсем почти не приносили никакой пользы. Замечательно мнение Манштейна о нашей академии за первые 28 лет ее существования. «Хозяйство этой академии всегда было какое-то особенное. При восшествии своем на престол императрица Анна пожаловала 30 000 рублей для уплаты ее долгов. Несмотря на это, когда Корф отправился в Данию, академия была должна ту же сумму. И хотя императрица Елисавета определила большую сумму для уплаты долгов, однако академические дела и теперь не в лучшем положении. Доселе Россия не может похвалиться какою-нибудь действительною выгодою от этого обширного заведения. Все плоды этой академии в течение 28 лет ограничиваются тем, что русские имеют календарь по петербургскому меридиану, могут читать газету на родном языке, что несколько немецких адъюнктов выучились математике и философии на столько, что заслужили себе пенсии от шести до восьми сот рублей. Что касается русских, то из них еще слишком мало сведущих, чтобы их можно было определять на профессорские места. Да и самая академия не так устроена, чтобы Россия могла себе ожидать от нее больших выгод. Ибо предметы, которыми она занимается, состоят не в русском языке, нравственности, гражданском праве, всеобщей истории и прикладной математике — единственных науках, которые могут быть полезны России. Нет: она занимается алгеброю, высшими математическими проблемами, критикою древностей и древними языками, анатомическими наблюдениями над телами человека и животных. Русские глядят на эти науки, как на пустые и бесполезные, и неудивительно, что они не имеют ни малейшей охоты отдавать в академию учить своих детей, хотя все уроки даровые. Очень часто доходит до того, что в академии больше бывает учителей, нежели учеников. Она бывает принуждена вызывать молодых людей из Москвы и назначать им жалованье для возбуждения их к занятиям, для того чтобы профессора имели слушателей на своих лекциях. Из всего этого легко можно вывести заключение, что несколько хороших школ, устроенных в Москве, Петербурге и в других городах, в которых бы преподавались обыкновенные науки, были бы для России гораздо полезнее, чем академия наук, стоящая ежегодно огромных сумм и не приносящая никакого плода»\*. Так же резко отзываясь Шлёцер о Петербургской академии: «Милльоны русских умели читать и писать; сотни тысяч уже читали книги и жаждали знаний. Только иностранные языки известны были немногим: таким образом следовало помочь

---

\* С уважением отзываясь Манштейн о морской академии и о двух англичанах — Брадлее и Фарфарсоне. — Действительно, последний образовал весьма замечательного геодеза Красильникова, на важные труды которого мы, русские, действительно можем указывать с гордостью.

переводами. А кто должен был помочь? конечно, богато жалованная академия. Разумеется, ее задачей было не только производить новые открытия в науках: русский мир был ей ближе. В первое ее десятилетие (1726 и 1736 годы) напечатаны были очень хорошие учебники, составленные Байером и другими для юного императора Петра II; но почти с 1736 по 1764 годы последовало печальное затишье. Ни каких более сочинений; почти ничего, кроме дословных переводов, выбранных притом без всякого внимания к тогдашним потребностям русского народа. Латинские комментарии академии, правда, заключали в себе превосходные статьи; но русские их не читали, не понимали. Они высчитывали те огромные суммы, которые стоила России академия, и громко говорили, что Россия ей обязана только ежегодными календарями. При этом особенно терялось уважение к иностранцам, ибо из них преимущественно состояла тогда академия». Шлёцер тут во многом ошибается. Злой враг Ломоносова, он намеренно умалчивает об его деятельности; но он справедливо передает ропот русских на академию, которая своею историею наглядно доказывает всю неуместность ученых учреждений на чисто казенных основаниях, все страшные преувеличения громадных услуг, оказанных России петербургскою академиею и вообще немцами. Шлёцер досадовал на бездеятельность академии, особенно, кажется, за то, что из-за этого русские теряли уважение к немцам. Но образованные русские гораздо лучше Шлёцера понимали все закоренелые недостатки академии. Так, один из глубочайших почитателей Ломоносова, известный воспитатель великого князя Павла Петровича, Порошин, не раз упоминает в своих записках о Петербургской академии, которая, впрочем, в прошлом столетии гораздо более, чем в нынешнем, принимала участие в развитии русской литературы». Перед обедом — замечает однажды Порошин — изволил его превосходительство (Н. И. Панин) говорить об академии. Говорил, что она оставлена без всякого попечения, что нижних школ для воспитания юношества и приготовления его к академическим учениям у нас нет, что такие школы для распространения наук необходимо нужны. И в самом деле, какая из того польза и у разумных людей слава отечеству приобретена быть может, что десять или двадцать человек иностранцев, созванные за великие деньги, будут писать на языке, весьма немногим известном? Еслиб крымский хан двойную дал цену и к себе таких людей призвал, они б и туда поехали, и там писать бы стали\*, а совсем тем татары все бы татарами прежними остались».

---

\* Л. Эйлер писал Миллеру из Берлина в 1736 г. (17 мая): «La raison qui m'oblige à chercher une autre demeure est d'un genre tout a fait différent. Vous avez vu que 125 roubles font ici 400 dalers. C'est en ces dalers qu'on paye ici les pensions. Il est vrai qu'on a dessein de frapper à l'avenir des dalers d'un meilleur aloi, dont deux feront un rouble, mais nonobstant cela j'y perdrois une troisième partie de ma pension et encore la cherté des vivres augmente ici tous

Действительно, существенным, коренным недостатком устройства Петербургской академии было то, что она почти исключительно состояла из иностранцев и притом не разных национальностей, а одной, именно немецкой, наиболее враждебной племени славянскому и наиболее опытной в борьбе с ним. Иностранцы разных национальностей никогда бы не успели образовать такой плотной, замкнутой корпорации, какую составили академики немцы. При разноплеменном составе академии иностранные члены разделились бы на различные национальные партии, из которых бы каждая старалась привлечь на свою сторону русских. Правда, и в немецкой нашей академии в партиях и интригах никогда, строго говоря, недостатка не бывало. В 1818 году президент С. С. Уваров писал про петербургскую академию: «Неуважение к общему мнению, частные ненависти и приязни, личности всякого рода произвели издавна совершенный недостаток единодушия и прекратили всю деятельность академии». В самом деле, немцы вносили в академию не только свою ученость и трудолюбие, но и свой тесный дух обособления (*Sondergeist*, воспитанный в них жалким германским *Kleinstaaterei*) и свои мелкие филистерские нравы, и свои пустые, чисто немецкие страсти к ссорам всякого рода, иногда доходившим даже до драк, как, например в XVIII веке на обсерватории между академиками Делилем, Крафтом и Гейнзиусом, в зале конференций между Юнкером и Вейтбрехтом. Но как северная, средняя и южная Германия, вечно спорящие и враждующие между собою, всегда бывают согласны и действуют единодушно по вопросу о народностях славянских, точно так же

---

les jours, l'ar ces motifs je me suis offert en plusieurs endroits me mettant pour ainsi dire à l'encan et je suivrai les meilleures conditions q' on m' offrira». Вследствие этого Тауберт написал об Эйлере отношение к графу Разумовскому, объясняя ему следующее: «Г. Эйлер считается еще почти первым математиком в Европе, и потому возвращение его в здешнюю академию весьма *умножит к ней почтение, а между учеными распространит славу о люблении и покровительстве к наукам ее императорского величества, всемилостивейшей нашей государыни*, того ради, не угодно ли будет вашему сиятельству доложить ее величеству о желании г. Эйлера, чтобы, оставя Берлин, возвратиться в российскую службу». (Из бумаг гос. арх.). В этих словах Эйлера и Тауберта ясно высказаны настоящие причины и цели, ради которых русское правительство вызывало ученых немцев, а немецкие ученые приезжали в Россию. И в новейшие времена сами немцы в Германии смеются над этим обычаем немцев продавать свою ученость всевозможным правительствам в мире. Так Фальмерайер писал в 1845 г.: «Мы (немцы) теоретически услаждаемся нашим могуществом и, увлекаясь величию немецкого имени, помышляем о завоеваниях в чуждых областях, а между тем про себя толкуем о том, кто предложит нам плату и примет к себе на службу за деньги и вознаграждение». Точно так же, в 1842 г. ганноверский король, в присутствии 40 человек, сказал однажды за обедом: «у профессоров (т. е. вообще ученых немцев) нет отечества; профессоров, публичных женщин и танцовщиц за деньги можно иметь везде: они идут туда, где им дают больше грошей».

и маленькая немецкая ученая колония Васильевского острова, несмотря на свои внутренние распри и усобицы, всегда действовала очень дружно относительно русских. С русскими учениками из дворян немецкие академики обходились всегда очень почтительно; но такие ученики вообще мало занимались науками и никогда не готовились к ученому званию, ибо оно считалось *неподобным* для российского дворянства. Русских же гимназистов и студентов *не из благородных* немецкие ученые по большей части держали в черном теле, совершенно напоминая немецких же мастеров-ремесленников и те отношения их к русским ученикам, которые верно и прекрасно обрисованы народной пословицею: «Немец шить научит, а кроить — никогда». Все современные известия единогласно подтверждают такой вывод об отношениях немецких членов академии к русским юношам и молодым людям\*. Долго служивший в академии Сергей Волчков в жалобе своей сенату на притеснения Тауберта (1761 г.) говорит между прочим: «Российских студентов профессора весьма мало учат, как

---

\* 12 июля 1756 г. в конференции академии присутствовали следующие члены: Миллер, Струбе, Ломоносов, Браун, Гришов, Попов, Сальхов и инспектор академической гимназии Модерах. Последний прочел написанные им правила для гимназии, которые все были одобрены всеми, за исключением одного: об отделении *благородных* от *подлых* (de separandis nobilibus a plebeis). Некоторым, сказано в протоколе, казалось, что общение разночинцев с благородными ничем не может быть опасно, если будут выключены все неблагонаправленные из первых (si ex plebeis illi qui perversae indolis sint vejiçiantur). Ломоносов предложил прочесть в следующий раз *написанный им устав для московской гимназии* (proposuit, se conscripsisse regulas pro Gymnasiis Mosquensibus ex quibus iter adplicari possint). 15 июля: (Прис.: Миллер, Ломоносов, Браун, Гришов, Попов, Сальхов, Модерах). Ломоносов прочел устав московской гимназии и обещал написать другой таковой же применительно к петербургской. 17 июля (Прис.: Миллер, Ломоносов, Штелин, Фишер, Браун, Гришов, Попов, Сальхов, Модерах). Миллер прочел написанные им 9 лет тому назад предложения для академической канцелярии о необходимости в гимназии отделить учеников благородных от разночинцев и учить их особливо (de discipulis genere ortes a plebeis separandis et singulariter informandis). Ломоносов, Штелин, Попов, сказано в протоколе, вышли из заседания. 19 июля: (Прис.: Миллер, Ломоносов, Фишер, Браун, Гришов, Сальхов, Модерах). Ломоносов, после ссор и попытки ниспровергнуть постановление предыдущего протокола, вышел из заседания (post rixas de praeced. protoc. motas siquidem ea quae nuper ab omnibus statuta sunt avertere annisus est, ex conventu excessit). После этого Ломоносов не бывал в конференциях 22, 24, 26 июля, 2, 5, 12, 19, 21, 26 августа, 9, 11 и 13 сентября и впервые после того присутствовал в заседании 16 сентября. Протоколы с этого времени составлялись Миллером. Ломоносов всегда упрекал его за угодливость знатым особам, за то, например, что составлял «вместо российской истории знатым особам генеалогические таблицы». И между тем он строго осуждал Миллера за его занозливые речи: «описывая чувашу, не мог пройти, чтобы их чистоты в домах не предпочесть российским жителям (т. е. нашим крестьянам). Он больше всего высматривает пятна на одежде российского тела, проходя многие истинные ее украшения».

то профессора астрономии — Делиль, Гмелин и другие многие делали; один другого незнанием упрекая, письменные его труды ругает, а особливо российских людей ненавидя гонят, и так у них к пользе российского народа ничего знатного в печать не выходит». Сумароков в своем журнале точно так же обличал эту немецкую исключительность петербургской академии. В статье своей «Сон» он представляет челобитную российских муз на иноплеменников: «Они о том только пекутся, чтобы мы, российские музы, в нашем искусстве никакого не имели успеха, чтоб они учеными, а сыны российские невежами почитались». — «И нигде, — продолжает Сумароков, — посреди своего отечества писатели от иноплеменников не зависят, не только от иноплеменников-невежд». Ломоносов любил современную ему Германию, считал ее благоустроенным государством, был женат на немке, имел друзей немцев, тогдашнего немецкого философа Вольфа называл всегда своим учителем и благодетелем; ближе Сумарокова и других был знаком с внутренним состоянием академии, с немецким элементом в России. Суждения о нем Ломоносова особенно важны и полновесны. Он объяснял печальное состояние петербургского университета дурным устройством гимназии, без которой *университет*, по его выражению, как *пашня без семян*. Вот, по его мнению, главнейшие недостатки академической гимназии: «Некоторые учителя приняты из милости и, получая не малое жалованье, никого в гимназии не обучают, а живут при детях у знатных господ». Так, например, Шлёцер получал от академии жалованье адъюнкта, а учил детей графа Разумовского. «Многие учителя были и ныне есть в латинской школе, которые российского языка неискusstны и учат школьников по латине с немецкого. Для того принуждены они прежде учиться по немецки. В чем, ради беспорядка, потеряв много лет, к латинскому языку уже устарев приступают и затем оно не выучаются»\*.

---

\* Ломоносов негодовал на Миллера, между прочим, за то, что он, как секретарь конференции, «посылающиеся указы в конференцию, кои по моему особливо представлению бывають, отнюдь не старается исполнить, например: уже тому больше 2 лет, как требуется от каждого профессора сократительное понятие его науки для того, чтобы выходящим из гимназии иметь о науках ясное воображение; но оное по ныне не исполнено». У нас еще неизвестно участие Ломоносова в издании учебников для низших классов гимназии. В журналах канцелярской академии читаем за 1757 г.: «Профессор Ломоносов предложил словесно канцелярии, чтоб сделать для гимназии лексиконец первообразных немецких слов, выписав из Штейнбахова лексикона и присовокупив российский перевод». Было поручено заняться этим Модераху. 1761 г.: «Ломоносов приказал книжку Орбис Пиктус отослать к г. Котельникову при ордере велеть оную на российский язык перевести, кому он заблагорассудит». 1763 г.: «Ломоносов представил в канцелярию на латинском и российском языках грамматику, сочиненную под его, Ломоносова, смотрением для нижнего класса гимназии и требовал о напечатании». Приказано было напечатать 1200 экз. в 8-ку.

Никто в России не понимал лучше Ломоносова разных вредных действий наших немецких учителей. Так однажды, обращая внимание И. И. Шувалова на недостаток в России аптекарей и врачей и указывая для исправления его на некоторые меры, он прибавляет: «Стыдно и досадно слышать, что ученики российского народа, будучи по десяти и больше лет в аптеках, почти никаких лекарств составлять не умеют, а ради чего? *Затем, что аптекари держат еще учеников немецких*, а русские при иготе, при решении и при уголье до старости доживают и учениками умирают; а немецкими всего государства не наполнить». От такого узкого, цехового направления не была свободна большая часть наших немецких академиков, так что из них составляли редкое исключение люди, подобные другу Ломоносова, акад. Брауну. В путешествии своем по Сибири Миллер заказывал своему приятелю Гмелину давать уроки русским студентам, и тот уже учил их потихоньку от Миллера. История новой русской образованности совершенно справедливо признается если не тождественною, то по крайности неразлучною с историею немецкой стихии в России. Но внимательное изучение обоих этих предметов приводит к таким двум выводам, печальная истина которых превосходно была выражена еще Ломоносовым в двух его замечаниях: 1) «Основание о произведении и размножении ученых людей в России не токмо весьма мало наблюдаемо было (т. е. государством), но и совсем оному в противность поступано быть кажется». 2) «Я думаю, что можно науки поверить лучше двум россиянам — мне и г. Котельникову: *довольно и так иноземцы российскому юношеству недоброхотством в происхождении препятствовали*».

Германия любит нам, русским, указывать на свои благодеяния, на заслуги свои нашему просвещению. Но справедливость требует, чтобы она, однако, обращала более беспристрастное внимание на историю немцев в России. Способы, к которым они очень часто прибегали для просвещения русских, породили такие поговорки, как: «наука — мука», «ученье — мученье» — в этом умном, даровитом народе, приученном природою и историею к тяжким трудам и лишениям, издревле повторявшем с полным сознанием, что *ученье — свет, а неученье — тьма*. В самом деле, наши немецкие учителя своим обращением с русскими часто возбуждали отвращение к себе и к предметам своего обучения, иногда производили даже возмущения, угрожавшие целости нанимавшего их для науки государства, которое потом усмиряло народ суровыми, жестокими наказаниями. Так, в 1705 г. в Астрахани стрельцы учинили *кровапролитье* и представили царю свою повинную, в которой исчислили обиды и притеснения, претерпенные ими от русских воевод и полковников-иноземцев. Для истории цивилизации и немцев в России эта повинная предлагает несколько любопытных подробностей: «Начальные люди иноземцы деньщиков брали себе поневоле, домовых

нарочитых людей не в очередь и имали с них деньги не в мочь же, а сверх деньщиков брали иных деньщиков и караульчиков и посылали их по воду и с платьем, и конюшни и отходы чистить заставляли, и постели под них стлали и разували, и детей их настывали, бани топили. И их братью они по щекам и палками били, и горшки, как похотят, на сторону ставливали и держали, и для покупки харчу их посылали; а который харч им не покажется, правили вдвое, гусей и утят пасли, а который гусенок или утенок умрет, правили деньги и, на дворе их стоя, обиды им чинили и над женами их посмехались, и младенцев их до смерти побивали. И кто придет бить челом, и полковник их челобитчиков бил и увечил на смерть, и велел им и женам их делать немецкое платье безвременно. И они-де дома свои продавали и образы святые закладывали. И усы и бороды брил и щипками рвал насильством, и от побой их многие их братья померли. Ему ж, полковнику, покупали они сено и дрова из своих братских денег и займывая, а он, полковник, из того сена и дров давал переводчику Арну и иным начальникам иноземцам», и проч. Известны богатства и живописность морских слов и выражений наших каспийских мореходов; и вот — эта же повинная сохранила нам очень характерную черту немецких наших учителей, встречающуюся, впрочем, постоянно во всех сферах деятельности: насильственно учили тому, что приходилось впоследствии бросать, как негодное, и силою отучивали от того, к чему потом надо было снова обратиться. «Он же, капитан, говорит челобитная, выбрал из них 60 человек и учил называть погоды по немецки, и которые их братья выговорить не умеют, бил их и морил голодом»\*. Впоследствии

---

\* Всякий из нас, имевших случай наблюдать в столицах или внутри России отношения наших немцев — мастеров, ученых, управляющих, администраторов — к русскому, конечно, очень хорошо знаком с воззрениями их на русский народ, знает, что современные немцы недалеко ушли от своих предков, а между тем русская сатирическая литература почти молчит о немцах. В этом отношении исключение из наших сатириков составляет Сумароков, который резко осуждал немцев, особенно петербургских. Так, в статье своей «Блохи» он говорит: «Еще в нашем государстве есть блохи, которые немецкими называются, а я вероятно ставлю гадин сих блохами финскими, и они только в сих местах держатся, где Ингрия с Финляндией граничит, ибо во всей Германии нет и подобия блох сих, и что, кроме Петербурга, их нет нигде, ни в самой Финляндии; и потому должно их называть блохами невскими. Счастливы авторы потомков наших: они сею гадиною мучимы не будут, ибо по осушении здешних болот сия тварь больше не рождается. Те только рода сего блохи шуршуют, которые в начале Петербурга завелись и по дни нынешних несчастных авторов, препятствуя словесным наукам и очищению нашего прекрасного языка, который они зловонием своим совершенно обезобразили. О, чада любезного моего отечества, *старайтесь освободить российский парнас от сея гадины!* На что нам чухонские блохи? у нас и своих довольно». Вот почти единственный пример осуждения немцев в нашей литературе — и как мелко, ничтожно, исключительно! Дворянин

времени солдаты наши уже привыкли к такому обращению немецких командиров. Особенно в этом отношении терпело русское войско при Анне Иоанновне. Почитатель Миниха, немец Манштейн, не скрывает жестокости Миниха, который действительно нисколько не берег людей. В этот десятилетний (1730–1740), самый тяжелый период немецкого ига всего более страдала русская народность в Петербурге — городе без всяких исторических преданий, в котором сооружение каждого почти здания сопровождалось стонами и проклятиями народа, в городе без всякой старины и русских обычаев, в котором кишмя кишели немцы, единственное сословие в России, которое любило эту *северную Пальмиру*, по выражению одного официального духовного проповедника. Вдали от народа, который по близости внушал бы и себе если неуважение, то по крайности страх, зная собственно одних крепостных дворовых, да солдат, видя, как наглое русское шляхетство в ногах валялось у Бирона, — и все маленькие немцы в Петербурге высоко подымали свои головы и в своих кружках подражали своему знаменитому соотечественнику, курляндскому герцогу. Никогда еще со времен татар не подвергалась русская народность большим обидам и поруганиям. История всех народов славянских доказывает, впрочем, что к такому концу всегда приводило их выделение из массы народа одного сословия и его политическое преобладание. Основное, жизненное начало славянского мира — общинность и братство. Допускаемая в себе искажение этого начала, народы славянские сами заносили на себя руки, губили свою народность и совершенно достойно и праведно подпадали в рабство своих соседей-соперников, азиатов и немцев.

В жалком, унижительном положении, в страшном загоне была русская народность в петербургской академии наук в то время, когда (1 янв. 1736) приехал Ломоносов в Петербург с своими 11 товарищами. При академии было тогда несколько русских переводчиков, учеников. Из выписанных за несколько лет до Ломоносова двенадцати воспитанников московской академии некоторые, как, например, Крашенинников, Горланов, были отправлены в сибирскую экспедицию «и там, кроме Крашенинникова, стали негодными, будучи без всякого призрения»; оставшиеся в Петербурге, по замечанию Ломоносова, «скитавшись несколько времени в бедности, для худого содержания определились по художествам и в канцелярии». Ломоносов прожил в Петербурге более семи месяцев и в это время, конечно, успел довольно близко ознакомиться с академическими

---

Сумароков глядит на немцев чисто с шляхетской точки зрения. Как будто один российский парнас терпел от немцев! Сумароков со всем нашим дворянством и его литературою был глух к ропоту народа. Ломоносов попрекал Сумарокову за то, что и Тауберта, и Миллера для того только бранит, что не печатают его сочинений, а не ради общей пользы».

порядками. Та ненависть к иностранному владычеству, с которою он приехал в Петербург, конечно, еще более усилилась в нем в эти месяцы. Его студентство в академии оставило в нем тяжелые воспоминания. Впоследствии времени, разбирая академический регламент, он замечал: «О награждениях и штрафах ничего не помещено; делают, как хотят. Штрафуют *студентов подло*. Примеры здешние, — примеры иностранные. *Мой пример в студентах*»\*.

Путешествие Ломоносова за границу было в высшей степени полезно для него и вместе для русского просвещения тем, что дало ему возможность не только избавиться от опасности, угрожавшей ему тайною канцеляриею и русскими немцами, и изучить науки, о которых не имели понятия его учителя в Москве и Киеве — им он мог, пожалуй, научиться и в Петербурге, хотя, разумеется, гораздо с большим трудом — но главнейше — освободиться от той ненависти к немцам, которую он справедливо питал к ним вместе с русским народом, будучи прежде знаком с немецкою народностью только по русским немцам. Ломоносов хорошо узнал Германию, полюбил немцев, научился ценить и уважать их достоинства. В Германии он имел несколько приятелей между немецкими студентами и молодыми профессорами. Так, он с особенным уважением и удовольствием вспоминал о германских ученых, профессорах Шпангенберге и Эберггарде. В 1754 году писал он однажды Миллеру: «Шпангенберг в Марбурге читал уже лет восемь лекции во всей философии и математике; Бермана превосходит Шпангенберг несравненно. Студентом будучи много лет, читал лекции другим студентам с великою похвалою и ныне профессором тринадцать лет в том упражняется. Правда, что в академии надобен человек, который изобретать умеет; но еще больше надобен, кто учить мастер. Оба достоинства в профессоре Шпангенберге несомнительны. О новых изобретениях не было ему времени думать, для того что должен читать много лекций. В протчем физические и электрические особливо опыты делает он часто в Касселе перед ландграфом и кассельский физический департамент на руках имеет. Притом о его

---

\* По мнению Ломоносова, наказания и награждения надо определять так, чтобы излишеством воздаяний не привести к высокоумию и лености, безмерным истязаниям к подлости и отчаянию». В пример того, как строго держался Ломоносов своих начал, укажем на следующее обстоятельство. В конференции однажды зашла речь об адъюнкте математики Сафронове, даровитом ученике Эйлера, но совершенно потом погибшем от пьянства. Положено было: за его дурное поведение лишить его половины жалованья. Один Ломоносов восстал против этого решения: «*ratioem suae sententiae adjiciens, quod beneficium incitanda sint ingenia quae potius dejiciantur, si ipsis dematur aliquid a salario, quo jam ante gavisissimi sint*». Очень замечательно похвальное слово Ломоносова имп. Елисавете 1749 года, в котором он раньше Беккария вооружается против смертной казни, говорит о вреде суровых уголовных наказаний.

остроумии уверен я из его разговоров. Что ж до чтения физических и математических лекций надлежит, то подобного ему трудно сыскать во всей Германии. Сие нашим студентам весьма нужно: ибо нет у нас профессора, который бы довольную способность имел давать лекции в физике и во всей математике; сверх сего, честные его нравы и все поступки академии наук не постыдны будут. Мне в четыре года, студентом и профессором, довольно знать его случилось. Мы счастливы, ежели он только поедет». Пребывание Ломоносова в Германии главнейше помогло ему достичь этой свободы воззрения на немцев, образ действий которых у нас в России, в биронцину, мешал ему прежде воздавать должное немецкому народу. Ознакомившись с ним непосредственно, Ломоносов особенно полюбил немцев протестантов, их любовь и уважение к труду и науке. Ему преимущественно понравились в Германии обширные учебные средства и пособия, распространение грамотности в народе, образованность тамошнего духовенства. В небольшой записке своей *об обязанностях духовенства* он говорит: «Тамошние пасторы не ходят никуда на обеды, по крестинам, родинам, свадьбам и похоронам, не токмо в городах, но и по деревням за стыд то почитают, а ежели хотя мало коего увидят, что он пьет, то тотчас лишат места. А у нас, при всякой пирушке по городам и по деревням, попы — первые пьяницы. И не довольствуясь тем, с обеда по кабакам ходят, а иногда и до крови дерутся». Из биронской России попав прямо в Германию, Ломоносов иногда даже преувеличивал ее *благоустройство*. Вообще, он до конца жизни своей не сознавал губительных последствий господствовавшего тогда в Германии вмешательства государства в домашний и общественный быт народа. Ему даже нравилась принудительная система народного образования. Он, кажется, даже не прочь был от мысли приказать народу строгими предписаниями, как лучше всего следует соблюдать посты\*. Для развития Ломоносова и русского просвещения было большим несчастьем, что ему не удалось, подобно Петру Великому, побывать в Австрии, где бы он ознакомился с западными славянами, во Франции и Англии. В Голландии прожил Ломоносов очень короткое время; об ней во всех его сочинениях сохранилось собственно одно упоминание, именно во втором прибавлении к металлургии, где идет речь о торфе.

---

\* Впрочем, тут обаятельно на него действовал пример Петра Великого. Так он замечает: «Исправлению сего недостатка *ужасные обстоят препятствия; однако небольшие опасны, как: заставить брить бороды, носить немецкое платье* (тут Ломоносов забыл о крестьянстве, из которого сам вышел и которого Петр заставить не мог сообщаться обходительством с иноверными), уничтожить боярство, патриаршество и стрельцов и вместо их учредить: правит. сенат, свят. синод, новое регулярное войско и новый год в другой месяц! *Российский народ гибок!*». Гнуть, дескать, можно.

Большую часть времени пребывания своего в Германии Ломоносов провел в Марбурге, занимаясь в тамошнем университете под руководством знаменитого тогда философа Германии — Вольфа, который, впрочем, в истории философии не занимает особенно важного места. Ума неглубокого и несамостоятельного, Вольф, говоря вообще, был мыслитель незамечательный. Он просто был *профессор философии*, главная заслуга которого состояла в том, что он первый стал излагать на немецком языке и в известной системе науки философские, держась учения Лейбница, причем, обобщая идеи великого мыслителя, он многого в них не понимал или разумел их очень узко. Впрочем, строго размеренная, тесная, но систематическая школа Вольфа была очень полезна для Ломоносова, особенно в первоначальных его занятиях, обуздывая и сдерживая его горячую, многостороннюю натуру. Своим честным, независимым характером Вольф внушил Ломоносову такое к себе уважение, что он до конца жизни называл его своим *благодетелем*. Профессор Любимов справедливо выразил сожаление, что Ломоносов не имел никого более учителями математики, кроме Вольфа и его учеников. Вольф, при всей своей огромной учености, был математиком отсталым, принадлежал к школе картезианцев и не умел по достоинству ценить великих заслуг Ньютона. При несомненном поэтическом даровании — которого нельзя не признать в Ломоносове вопреки отзыву Пушкина, впрочем достаточно опровергнутому К. Аксаковым, — Ломоносов, действительно, не обладал большими математическими способностями, которые вообще несоединимы в одном лице с дарованием художественным, ибо они взаимно себя исключают: поэт постигает явления мира внешнего и внутреннего в образах, а сила ума математического состоит в мышлении чистом, строго отвлеченном и формальном. В этом отношении г. Любимов был совершенно прав, отрицая в Ломоносове большие математические способности; но мы не можем согласиться с почтенным профессором в том, что будто бы Ломоносов был строгий картезианец и вовсе не изучал Ньютона\*. Тем не менее нельзя не сожалеть, что неблагоприятные внешние обстоятельства не позволили Ломоносову съездить, как первоначально предполагалось, во Францию и в Англию. Впрочем, Ломоносов сознавал некоторые односторонности немецкой литературы. Так, первые его ученые сочинения писаны еще в манере Вольфа, но в позднейших трудах своих он совершенно освободился от этого искусственного метода и в своих общефилософских началах близко впоследствии подошел к мыслителям английским. Совершенно независимо от Канта Ломоносов, и с ним русская образованность, прошли тот же период развития, который совершался

---

\* Любимову были неизвестны некоторые сочинения Ломоносова. Об этом я буду говорить подробно при обозрении трудов Ломоносова.

в отце критической философии, когда он перешел из учеников Вольфа в последователи Локка. Один из первых и любимейших учеников Ломоносова, необыкновенно даровитый Поповский, переводил уже на русский язык сочинения английских писателей Попе и Локка. Немецкая поэзия, особенно Гюнтер, имела на Ломоносова огромное влияние. Несмотря на распущенность и слабость нравственных начал, в произведениях Гюнтера есть много искренности, чистосердечия и теплоты, выраженных поэтически, ибо он вообще обладал замечательным поэтическим талантом. Впрочем, не один, кажется, талант Гюнтера привлекал к себе Ломоносова и не дозволил ему разглядеть ту ложь и безнравственность, тот подлый дух, который вообще тогда господствовал в немецкой образованности, имевшей свою особую, *придворную, случайную* (Hofpoesie, Angelegenheits Gedichten) поэзию, которая совершенно напоминает собою придворную поэзию каких-нибудь арабских династий или ширван-шахов. Говорим, Ломоносов увлекался, кажется, не одним дарованием Гюнтера, а тем образом жизни и нравами, которые тот воспевал. По своей натуре он любил пир жизни, ее веселье и радости. После пяти лет тяжелой, суровой семинарской жизни в биронщину, он вдруг, совершенно неожиданно попадает в Петербург; способности его замечены; в академии ему обещают место профессора тотчас по его возвращении из-за границы; счастье ему улыбается — и вот в Германии он начинает баловать, как все подобные натуры при такой обстановке, как почти всякий русский, который так легко портится вдали от родины. Быть может, умеренная, расчетливая натура немцев, их грошовый разгул, комическая трусость немецких филистеров и бюргеров еще более подстрекали в Ломоносове русскую удаль и молодечество. Из донесений Вольфа в Петербург видно, что он сильно любил гулянки, входил в долги и волочился за немками. Распущенный образ жизни не мог не ронять нравственной высоты его характера. Эта испорченность сердца и воли была главнейшею причиною, почему Ломоносова не оттолкнули от себя та грязь, подлость и лесть, которыми была проникнута тогдашняя немецкая придворная поэзия. Ода на взятие Хотина (1739) написана в прославление императрицы Анны и Миниха, о которых мнение народа было, конечно, известно Ломоносову. Кажется, это стихотворение, открывающее собою новую эпоху в русской литературе, было отчасти внушено Ломоносову не совсем чистым желанием если не выслужиться перед начальством, то по крайности загладить перед ним свои студентские грехи. К чести Ломоносова можно, однако, заметить, что у него нет даже намек на Бирона, не только его прославления. Как бы то ни было, но подлый, низкий тон, введенный собственно в России виршами Тредиаковского и некоторых западно-руссов, был принят и узаконен отцом русской словесности. Так всегда упадок нравственных сил в обществе и его деятелях приводит их не-

пременно к поклонению материальной, внешней силе, служебному их подчинению государству. За особенное счастье надо считать, что возвращение Ломоносова в Россию случилось не прежде, а после смерти Анны Иоанновны, ибо его ода понравилась двору, и, вернись он еще при ней из-за границы, он бы верно, подобно Тредиаковскому, получил вход в покои Бирона. Чувствительная и сентиментальная в юности, Анна Иоанновна отличалась потом жестким нравом и преимущественно любила все зрелища, оканчивавшиеся драками; своих шутов и дураков она сама заставляла биться при ней до крови. Впрочем, она не чуждалась и более эстетических наслаждений: иногда впускали в ее покои первого тогда русского писателя — Тредиаковского; он становился где-нибудь у стены на колени и в таком положении пел перед нею какую-нибудь свою песенку. Этот подлый попович сам передал потомству, как однажды, в подобном случае, *в вознаграждение имел он счастье получить от державной ее руки всемилостивейшую оплеушину\**.

Впрочем, кажется, немецкая литература не совсем удовлетворяла Ломоносова. Еще в Германии ознакомился он с языком фран-

---

\* Мы нисколько не думаем отвергать ученых и литературных заслуг Тредиаковского; но его ученость и трудолюбие — одна статья, а подлость и низость его души — другая. Эти качества его столь же неотъемлемы, как и его ученые заслуги, которые, впрочем, стали у нас из оригинальности преувеличивать. В его деле с Волынским он столько же заслуживает порицания, как и последний, если еще не более. Волынский бил его по щекам не из желания показать свое презрение к писателю, а как известного ему подлеца и холопа Бирона. Тредиаковский за свой характер заслуживает полного презрения, и наши ученые совершенно напрасно либеральничают, восклицая: «Вот как тогда обращались с литераторами — не то что Шувалов с Ломоносовым?» Как будто с последним возможно было подобное обращение, и точно Тредиаковский не виноват, что допустил такие оскорбления. Обойдись с ним таким образом Бирон — и он бы, разумеется, молчал. Низкую душу свою он обличил еще более после казни Волынского, когда представил новую просьбу, где снова упоминает о своих побоях, прибавляет даже не без сожаления, что во всемилостивейшем манифесте, при исчислении преступлений Волынского, хотя и упомянуто об этих побоях в самых ее импер. величества апартаментах, но не именовав его (то есть Тредиаковского). И вот, ссылаясь на конфискацию движимых и недвижимых имуществ Волынского, он просит «учинить ему милостивейшее наградительное удовольствие, чтоб ему, бедному, беззаступному и толь мучительски изувеченному (что несправедливо, как видно из докторского свидетельства), *сподобиться* высочайшие и неизреченные ее императорского величества милости, к совершенному его порадованию и ободрению при службе ее императорского величества, и притом еще б усерднейшие на всякой момент его жизни молитвы присокупить с радостью к молитвам всех ее императорского величества верных подданных всеблагому и всецедрому Богу, *которого здесь на земле ее императорское величество нам — истинный образ и совершенное подобие*, за высочайшее ее императорского величества здравие и всей императорской фамилии». Тредиаковскому велено было выдать *семьсот двадцать рублей*.

цузским. Правда, французов он никогда особенно не любил, метко замечая про них, что они «во всем хотят натурально поступать, однако, всегда противно своему намеренно чинят». Но его выбор Фенелона для перевода очень замечателен. В 1738 году Ломоносов прислал в академию свой перевод в стихах одной его оды. Но особенно любопытен и самый выбор, и перевод Ломоносова с французского оды Руссо «на счастье», доказывающие, что придворная, официальная поэзия была ему не по душе. В этом переводе есть строфы очень замечательные:

Ты знай, героя совершенны  
Премудростию в свет даны;  
Она лишь видит, коль презренны,  
Что чрез тебя возведены.  
Она ту славу презирает,  
Что рок неправедный рождает  
В победах слепотой своей;  
Пред строгими ее очами  
Герой с суровыми делами —  
Ничто, как счастливый злодей.  
Почтить ли токи те кровавы,  
Что в Риме Силла проливал?  
Достойно ль в Александре славы,  
Что в Аттиле всяк злом признал?  
За добродетель (то есть мужество) и геройство  
Хвалить ли зверско беспокойство  
И власть окровавленных рук?  
И принужденными устами  
Могу ли возносить хвалами  
Начальника толиких мук?  
.....  
Слепые мы судьи, слепые,  
Чудимся таковым делам!  
Одни ли приключенья злые  
Дают достоинство царям?  
Их славе, бедствами обильной,  
Без брани хищной и насильной  
Не можно разве устоять?  
Не можно божеству земному  
Без ударяющего грому  
Своим величеством блистать.

Вообще, несмотря на излишнюю иногда преданность удовольствиям, Ломоносов в Германии много работал, и его тамошние успехи истинно изумительны. В марте 1739 года написал он для академии одну диссертацию по физике на латинском языке: «*Dissertatio physica de corporum mixtorum differentia, quae in cohaesione corpusculorum consistit quam exercitii gratia conscripsit*

Michael Lomonosoff, Mathereos et Philosophiae studiosus. Anno 1739 mense martio». Из нее видна уже большая начитанность Ломоносова: кроме разных ссылок на многие сочинения Вольфа, встречаются еще указания на сочинения Роберта Бойля, Бурава. Наконец, в ней попадаются уже некоторые оригинальные мысли, которые впоследствии были подробно развиты в его замечательной частичной системе. Эта диссертация обличает необыкновенные дарования Ломоносова, если вспомнишь, что за два года перед этим, в 1737 году, 12 июня Вольф писал к барону Корфу о Ломоносове и его товарищах, что в первое полугодие они обучались немецкому языку и первым основаниям арифметики и геометрии. Впрочем, Вольф, жалуясь на поведение русских студентов и их долги, всегда особенно дурно говорил собственно об одном Виноградове и всегда выделял Ломоносова, то отзываясь с похвалою об его дарованиях, то замечая, что он привыкает к более мягким нравам, начинает исправляться, много работает, изъявляет раскаяние о своих долгах. Вольф сохранил о Ломоносове одну любопытную подробность. В письме своем к барону Корфу от 1 августа 1739 года он рассказывает, что при отъезде от него русские студенты уверяли его, что они изменят свое поведение, что их не узнает сам Вольф, когда они снова воротятся в Марбург. «Я говорил им, прибавляет Вольф, что они должны загладить свое прежнее поведение перед вашим превосходительством и академиею наук, что обо мне им нечего заботиться; при этом в особенности Ломоносов не мог произнести ни слова от слез и волнения». Прибавим, что Ломоносову в это время было около тридцати лет. Этим наивным простодушием, чистосердечием и непосредственностью он отличался до конца своей жизни, и в этом отношении ученый петербургский академик, пиит и статский советник никогда не изменял своему крестьянскому происхождению. Суровый на вид, ворчун, резкий в своих выражениях, угловатый в движениях, в глубине души он всегда был прост, добр и доверчив, как ребенок, и с своим гениальным умом легко поддавался обманам очень пошлых, но хитрых людей. Всякая обида, своя и чужая, всякая ложь и подлость всегда приводили его в негодование, возмущали его до слез. Из Марбурга Ломоносов с товарищами отправился во Фрейберг, к горному советнику Генкелю, у которого пробыл около 10 месяцев. Шумахер не прислал Генкелю обещанных ему академиею наперед шести сот рублей, и он стал удерживать у себя и без того скудное жалованье студентов и по окончании химического курса вовсе отказал им в деньгах. В Марбурге в 1740 году (6 июня) Ломоносов вступил в брак по лютеранскому обряду с какою-то Елисаветою Цилих — кажется, дочерью хозяина, у которого он жил на квартире. Там же родилась у него дочь. Лето 1740 года провел Ломоносов в Гесселе и на Гарце для изучения горного дела. Здесь он сошелся с известным тогда металлургом, горным

советником Крамером, с которым прожил вместе несколько времени. Зимой возвратился в Марбург. Между тем, имея старые непоплаченные долги, получая из академии не вовремя и то очень скудное жалованье, обязанный теперь содержать семейство, опасаясь тюрьмы, Ломоносов решился тайно бежать из Марбурга, кажется, сказавши об этом только своей жене. В июне 1741 года он приехал в Петербург.

Замечательно, как на жизни Ломоносова отражается судьба России. Не стану передавать в подробности, только напомним всем известный случай его жизни, как он, уже женатый на немке, пробираясь в Голландию, бежа от угрожавшей ему тюрьмы в Германии, по дороге в Дюссельдорф повстречался на постоялом дворе с прусскими вербовщиками солдат; как им понравились его высокий рост, необыкновенные физические силы Ломоносова; как они напоили его, произвели в рейтары и отправили в крепость Везель; как, наконец, он спасся оттуда, только благодаря своим природным силам и ловкости, которым преимущественно был обязан своему крестьянскому происхождению. Любовь к веселью жизни, общинность духа и страсть брататься едва не увлекли Ломоносова в вечную неволю немцам; без этих природных сил, без твердой надежды на волю божью, без крепкой веры в себя и в свое призвание — не бывать бы ему у нас на Руси, а служить было ему под знаменами героя Германии, Фридриха II, на порабощение своих же братьев, славян, немецкому игу. Наше образованное общество, мы все, подобно Ломоносову, были увлечены под чужие знамена и долго сидели у немцев в умственном заточении. Будем твердо надеяться, что свежие народные силы выведут нас наконец из этой духовной неволи на свет божий, на вольный простор, на родные, славянские нивы.

